



Геннадий Красухин

**Мои
литературные
СВЯТЦЫ**

квартал 3

Геннадий Красухин

Мои литературные святцы

«Издательские решения»

Красухин Г.

Мои литературные святцы / Г. Красухин — «Издательские решения»,

Автор этой книги потому и обратился к форме литературного календаря, что практически всю жизнь работал в литературе: больше 40 лет в печатных изданиях, четверть века преподавал на вузовской кафедре русской литературы. Разумеется, это сказалось на содержании книги, которая, сохраняя биографические данные её героев, подчас обрисовывает их в свете приглядных или неприглядных жизненных эпизодов. Тем более это нетрудно было сделать автору, что со многими литераторами он был знаком.

Содержание

Июль	6
1 июля	6
2 июля	13
3 июля	18
4 июля	20
5 июля	22
6 июля	30
7 июля	34
8 июля	35
9 июля	38
10 июля	40
11 июля	45
12 июля	47
13 июля	52
14 июля	56
15 июля	61
16 июля	65
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Мои литературные святцы

квартал 3

Геннадий Красухин

© Геннадий Красухин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Июль

1 июля

Павел Григорьевич Антокольский родился 1 июля 1896 года. Является внучатым племянником скульптора М. М. Антокольского. Был учителем многих поэтов, в том числе Беллы Ахмадулиной. Дружил с Цветаевой до её эмиграции.

Довольно долго с 1919 по 1934 год работал режиссёром в драматической студии под руководством Вахтангова, потом в театре имени Вахтангова. Для театра написал инсценировку по роману Г. Уэллса «Когда спящий проснётся».

В Великую Отечественную войну руководил фронтовым театром. В 1945 году был режиссёром Томского областного драматического театра имени Чкалова.

В 1942 году на фронте погиб младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский – сын поэта. Павел Антокольский написал о нём поэму «Сын», за которую получил сталинскую премию.

Много переводил французских, болгарских, грузинских и азербайджанских поэтов.

В связи с последними мне хочется процитировать из книги Бенедикта Сарнова «Перестаньте удивляться»:

«В Баку на какое-то местное литературное мероприятие приехала делегация писателей из Москвы. Был банкет. И во время этого банкета Мир-Джафар Багиров (тогдашний азербайджанский сатрап, человек страшный, говорили даже, что он страшнее, чем его выкормыш Лаврентий Берия) вдруг – ни с того ни с сего – обратил свой неблагоприятный взор на Самеда Вургуна.

Он погрозил ему пальцем и прорычал:

– Смотри, Самед!..

И долго ещё нес в адрес растерявшегося Самеда что-то угрожающее.

За этим его рычанием слышалась такая лютая злоба и такая неприкрытая угроза, что все присутствующие, особенно москвичи, почувствовали себя неловко. А Павел Григорьевич Антокольский даже не выдержал и вмешался.

– Товарищ Багиров, – сказал он. – Почему вы так разговариваете с Самедом? Мы все высоко ценим этого замечательного поэта, и мы...

Багиров обратил на Антокольского свой мутный взор и, склонившись к кому-то из своих топтунов-шаркунов, спросил, кто это такой. Ему объяснили. Тогда, повернувшись к Павлу Григорьевичу, он негромко скомандовал:

– Антокольский. Встать.

Антокольский встал.

Багиров сказал: – Сесть

Антокольский сел.

Вопрос был исчерпан. Банкет продолжался».

Вот в какое страшное время жил Павел Григорьевич Антокольский. И вот какие унижения ему, порядочному человеку, приходилось сносить.

Стихи у Антокольского были разными. Есть среди них и замечательные. Например «Иероним Босх»:

Я завещаю правнукам записки,

Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного суда.
Однажды Босх привёл меня в харчевню.
Едва мерцала толстая свеча в ней.
Горластые гуляли палачи в ней,
Бесстыжим похваляясь ремеслом.
Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать,
Не чаркой стукнуть, не служанку тискать,
А на доске грунтованной на плоскость
Всех расселить в засол или на слом».
Он сел в углу, прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,
Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда
А пир в харчевне был меж тем в разгаре.
Мерзавцы, хохоча и балагурия
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописи Страшного суда.
Не догадалась дьяволова паства,
Что честное, весёлое искусство
Карает воровство, казнит убийство.
Так это дело было начато.
Мы вышли из харчевни рано утром.
Над городом, озлобленным и хитрым,
Шли только тучи, согнанные ветром,
И загибались медленно в ничто.
Проснулись торгошники, монахи, судьбы.
На улице калякали соседи.
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как Господа.
Так, нагло раскорячась и не прячась,
На смену людям вылезала нечисть
И возвецала горькую им участь,
Сулила близость Страшного суда.
Художник знал, что Страшный суд напишет,
Пред общим разрушеньем не опешит,
Он чувствовал, что время перепашет
Все кладбища и пепелища все.
Он взглядывался в шабаш беспримерный
На чёрных рынках пошлости всемирной
Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
Он видел смерть во всей её красе.
Я замечал в сочельник и на пасху,
Как у картин Иеронима Босха

*Толпились люди, подходили близко
И в страхе разбегались кто куда,
Сбегались вновь, искали с ближним сходство,
Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!»
Во избежанье Страшного суда.*

Умер Павел Григорьевич 9 октября 1978 года.

С Виктором Осиповичем Перцовым, родившимся 1 июля 1898 года, мы были в жюри конкурса детских работ о Маяковском, приуроченного к 80-летию поэта. Возглавлял жюри Константин Симонов.

Пока отбирали работы, определяли награды, всё шло хорошо. Известный своими официальными работами о Маяковском, за которые как раз недавно получил Государственную премию, Перцов ни во что не вмешивался. В основном инициативу проявляли мы с Наташей Дардыкиной из «Московского комсомольца».

Но вот – награждение победителей конкурса, после которого будет концерт. Большой зал ЦДЛ полон. Школьники пришли вместе с родителями и учителями.

К микрофону подходит Симонов.

Он раскланивается с теми, кто сидит в первом ряду. А потом объявляет, что в зале находится подруга и муза Маяковского Лиля Юрьевна Брик. С кресла первого ряда тяжело поднимается улыбающаяся старушка. Она поворачивается к залу.

– Пгашу встать и попгивествовать, – предлагает, картавя, Симонов.

Все, аплодируя, встают. Встаёт и президиум. Но вижу, что у тех, кто стоит близко к сцене и аплодирует, на лицах недоумение. Оглядываюсь. Виктор Осипович сидит. На его лице прерзительная гримаса.

Так и не встал перед женщиной.

Умер 9 февраля 1980 года.

С Иосифом Самуиловичем Шкловским, родившимся 1 июля 1916 года, были дружны все три моих близких товарища – критики Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин. Приятельствовал с ним и я. Он, учёный с мировым именем, член-корреспондент академии наук, академик многих зарубежных академий, любил отдыхать в наших писательских домах творчества, где мы с ним и встречались. «*Тоже маракую*», – улыбаясь, объяснял он своё желание жить в доме творчества писателей.

Это «мараканье» он давал и мне на редактуру, просил быть безжалостным. Я читал его интереснейшие воспоминания, и была у меня к ним только одна претензия: в устном исполнении они были ещё интересней. Рассказчик Иосиф Самуилович был блестящий. Я считал, что лучше будет, если он не запишет, а надиктует свои рассказы. После, когда вышла книга Шкловского «Эшелон», я увидел, что он во многом внял этому.

Есть пересказанные воспоминания Шкловского в книге Сарнова, есть немного и у Лазарева. Мне же, чтобы донести аромат его стиля, хочется процитировать непосредственно самого Шкловского:

«Мальчишки нашего эшелона! Какой же это был золотой народ! У нас не было никогда никаких ссор и конфликтов. Царили шутки, смех, подначки.

Конечно, шутки, как правило, были грубые, а подначки порой далеко не добродушные. Но общая атмосфера была исключительно здоровая и, я не боюсь это сказать, оптимистическая. А ведь большинству оставалось жить считанные месяцы! Не забудем, что это были мальчишки 1921 – 1922 годов рождения. Из прошедших фронт людей этого возраста вернулись живыми только 3 процента! Такого никогда не было! Забегая вперёд, скажу, что большинство ребят через несколько месяцев попали в среднеазиатские военные училища, а оттуда младшими лейтенантами – на фронт, где это поколение ждала 97-процентная смерть.

Но пока эшелон шёл на Восток, в Ашхабад, и окрестные заснеженные казахстанские степи оглашались нашими звонкими песнями <...> слева от меня на нарах лежал двадцатилетний паренёк <...> почти не принимавший участия в наших бурных забавах. Он был довольно высокого роста и худ, с глубоко запавшими глазами, изрядно обросший и опустившийся (если говорить об одежде). Его почти не было слышно. Он старательно выполнял черновую работу, которой так много в эшелонной жизни. По всему было видно, что мальчика вихрь войны вырвал из интеллигентной семьи, не успев опалить его. Впрочем, таких в нашем эшелоне было немало. Но вот однажды этот мальчишка обратился ко мне с просьбой, показавшейся совершенно дикой: «Нет ли у Вас чего-нибудь почитать по физике» – спросил он почтительно «старшего товарища», то есть меня. Надо сказать, что большинство ребят обращались ко мне на «ты», и от обращения соседа я поморщился. Первое желание – на БАМовском языке послать куда подальше этого папенькиного сынка с его нелепой просьбой. «Нашёл время, дурачок», – подумал я, но в последний момент меня осенила недобрая мысль. Я вспомнил, что на самом дне моего тощего рюкзака, взятого при довольно поспешной эвакуации из Москвы 26 октября, лежала монография Гайтлера «Квантовая теория излучения».

Мне до сих пор непонятно, почему я взял эту книгу с собой, отправляясь в путешествие, финиш которого предвидеть было невозможно. По-видимому, этот странный поступок был связан с моей, как мне тогда казалось, не совсем подходящей деятельностью после окончания физического факультета МГУ. Ещё со времён БАМа, до университета, я решил стать физиком-теоретиком, а судьба бросила меня в астрономию. Я мечтал (о, глупец) удрать оттуда в физику, для чего почитывал соответствующую литературу. Хорошо помню, что только-только вышедшую в русском переводе монографию Гайтлера я купил в апреле 1940 года в книжном киоске на Моховой, у входа в старое здание МГУ. Книга соблазнила меня возможностью сразу же погрузиться в глубины высокой теории и тем самым быть «на уровне». Увы, я очень быстро обломал себе зубы: дальше предисловия и начала первого параграфа, трактующего о процессах первого порядка, я не сдвинулся. Помню, как я был угнетён этим обстоятельством – значит, конец, значит, не быть мне физиком-теоретиком! Где мне тогда было знать, что эта книга просто очень трудная и к тому же «по-немецки» тяжело написана. И всё же – почему я запихнул её в свой рюкзак? «Весёлую шутку я отчебучил, выдав мальчишке Гайтлера», – думал я. И почти сразу же об этом забыл <...> я совсем забыл про странного юношу, которого изредка бессознательно фиксировал боковым зрением – при слабом, дрожащем свете коптилки, на фоне диких песен и весёлых баек паренёк тихо лежал на нарах и что-то читал. И только подъезжая к Ашхабаду,

я понял, что он читал моего Гайтлера! «Спасибо», – сказал он, возвращая мне книгу в чёрном, сильно помятом переплёте. «Ты что, прочитал её?» – неуверенно спросил я. «Да». Я, поражённый, молчал. «Это трудная книга, но очень глубокая и содержательная. Большое Вам спасибо», – закончил паренёк.

Мне стало не по себе. Судите сами – я, аспирант, при всем желании не смог даже просто прочитать хотя бы первый параграф этого проклятого Гайтлера, а мальчишка, студент третьего курса, не просто прочитал, а проработал (вспомнилось, что, читая, он ещё что-то записывал), да ещё в таких, прямо скажем, мало подходящих условиях! <...>

В конце 1944 года вернулся и мой шеф по аспирантуре, милейший Николай Николаевич Парийский. Встретились радостно – ведь не виделись три года, и каких! Пошли расспросы, большие и малые новости <...> Между делом Николай Николаевич сказал: «А у Игоря Евгеньевича (Тамма, старого друга Н. Н.) появился совершенно необыкновенный аспирант, таких раньше не было. Даже Виталий Лазаревич Гинзбург ему в подметки не годится». – «Как его фамилия?» – «Подождите, подождите, такая простая фамилия, всё время крутится в голове – чёрт побери, совсем склеротиком стал!» Это было так характерно для Николая Николаевича, известного в астрономическом мире своей крайней рассеянностью. А я подумал тогда: «Весь выпуск физфака МГУ военного времени прошёл передо мною в ашхабадском эшелоне. Кто же среди них этот выдающийся аспирант?» И в то же мгновение я нашёл его: это мог быть только мой сосед по нарам в теплушке, который так поразил меня, проштудировав Гайтлера. «Это Андрей Сахаров?» – спросил я Николая Николаевича. «Во-во, такая простая фамилия, а выскочила из головы!»

...Я не видел его после Ашхабада 24 года. В 1966-м, как раз в день моего пятидесятилетия, меня выбрали в членкоры АН СССР. На ближайшем осеннем собрании академик Яков Борисович Зельдович сказал мне: «Хочешь, я познакомлю тебя с Сахаровым?» Еле протиснувшись сквозь густую толпу, забившую фойе Дома учёных, Я. Б. представил меня Андрею. «А мы давно знакомы», – сказал он. Я его узнал сразу – только глаза запали ещё глубже. Странно, но лысина совершенно не портила его благородный облик.

В конце мая 1971 года, в день 50-летия Андрея Дмитриевича, я подарил ему чудом уцелевший тот самый экземпляр книги Гайтлера «Квантовая теория излучения». Он был очень тронут, и, похоже, у нас обоих на глаза навернулись слёзы».

Книга Иосифа Самуиловича Шкловского «Эшелон» есть в Интернете. Очень рекомендую. Живёт, несмотря на то, что автора давно уже нет на свете: умер 3 марта 1985 года.

И добавлю. Иосиф Самуилович не просто возобновил знакомство с Сахаровым, но выступил против академиков, подписавших письмо, которое призывало к расправе над инакомыслящим Андреем Дмитриевичем. Шкловскому этого не простили. Он так и не стал академиком, хотя был одним из самых крупных астрономов, живущих тогда в мире. Он получал массу приглашений из академий и университетов разных стран: прочитать лекции, вести семинары. Но власти его сделали невыездным.

Выезжал, когда отказать уже было нельзя. И то извещали его о разрешении накануне. Чтобы не успел собраться. Чтобы собирался наспех.

Но Иосиф Самуилович не унывал. Он знал, на что шёл. И не хотел меняться кому-либо в угоду. Воистину настоящий друг академика Сахарова!

Олег Михайлович Дмитриев, родившийся 1 июля 1937 года, был довольно близким моим товарищем. Мы познакомились в университете, куда он пришёл читать свои стихи. Не помню, работал ли он ещё в «Юности» или перешёл в «Литературную газету», но печатался он в то время довольно много. Вместе с Владимиром Костровым, Владимиром Павлиновым и Дмитрием Сухаревым они выпустили коллективную книжку «Общежитие», о которой я написал в журнале «Смена». Знакомство наше укрепилось ещё больше. А потом оно обросло ещё и общими близкими знакомыми – Сашей Рыбаковым, прозаиком, сыном известного писателя, Валерой Осиповым, прозаиком и киносценаристом.

Особенно проявился верный своим друзьям Олег, когда хамски сняли отца шестнадцатиполосной «Литературной газеты» Виталия Александровича Сырокомского. Сняли из-за всемогущего члена политбюро Громыко, в день рождения которого у нас в газете появилась статья о происках председателя жилищного кооператива МИДа. Громыко расценил это как выпад против него лично. От Сырокомского немедленно отвернулись знакомые. Даже другие наши замы главного редактора предпочли не замечать своего отставного начальника (Сырокомский был первым замом), с которым они жили в одном доме. А Олег не просто продолжил знакомство. Он писал Виталию Александровичу и его жене Ире Млечиной шуточные стихи, отвлекал их от свалившихся на их плечи несчастья, поддерживал их.

Прочитайте стихотворение этого рано умершего поэта:

*Здесь бродят псы, доверчивы и тощи
К проходим льнут – не отогнать никак!
Хозяева на новую жилплощадь
С собой не взяли кошек и собак.
Продуты ветром чёрные бараки.
Здесь по ночам, во тьму вперяя взгляд,
Оставленные кошки и собаки
Поодиночке в комнатах сидят:
Ещё в углах живёт знакомый запах,
Ещё надежды дух не истребим,
И вздрагивают головы на лапах —
В коротких снах приходят люди к ним!
Настал сентябрь. В покинутом квартале
Над блёклою листвой кружится сор...
Вдруг резко тормоза заскрежетали
И мальчик с плачем бросился во двор.
И закричал у дома: «Борька! Борька!» —
Взъерошен, длинноног и длиннорук.
По лестнице взбежал и плакал горько,
И снова принимался звать!
И вдруг
Явился кот,
Облезлый, драный, грязный,
Сощурился на громкий зов, на свет,
Уже привыкнув к жизни несуразной,
Где дом – не дом, и человека нет.
И мальчик потащил его к машине,*

*Не чуя ног, не чувствуя земли,
И слёзы счастья – самые большие! —
На шерсть кота бесстрастного текли...
А из такси родители смотрели,
Не говоря друг другу ничего,
И их сердца внезапно подобрели,
Постигнув сердце сына своего.
Они, наверно, чувствовали смутно,
Что мир вещей, отнявший столько сил,
Мир суетных забот сиюминутных
Их души постепенно искажил.
Но только... если глупый мальчик плачет,
Целуя в нос несчастного кота,
То это всё в конечном счете значит,
Что в мире есть любовь и доброта!
И улыбалась женщина устало
И муж смотрел растерянно в стекло
На жалкие строения квартала,
Где детство их давным-давно прошло...*

Скончался Олег Дмитриев 9 декабря 1993 года.

Павел Васильевич Анненков, родившийся 1 июля 1813 года, по праву считается родоначальником отечественной пушкинистики. Он выпустил первое научно комментированное собрание сочинений Пушкина (1855 – 1857) и первую его обширную биографию – «Материалы для биографии Пушкина» (1855). Изучил отдельный период жизни поэта и написал об этом книгу «Пушкин в Александровскую эпоху» (1877). Анненков работал с рукописями Пушкина, опрашивал современников поэта, изучал прижизненную Пушкину прессу.

Но он не только замечательный пушкинист. Он великолепный мемуарист, оставивший нам три тома «Воспоминаний и критических очерков». Читать их увлекательно и познавательно. Умер 8 марта 1887 года.

2 июля

Самое муторное, что было в моей работе в «Литературной газете» – это рецензии, которые требует заказать начальство на книги, какие никто не возьмётся читать в силу, как говаривал в таких случаях Зошенко, их маловысокохудожественности. Начальство знает об их качестве, но требует, потому что от него требуют, на него давят. Оно согласно не обращать внимания на уровень рецензии, лишь бы была грамотно написана, лишь бы вообще была! Но где её возьмёшь? Иногда отказываются писать даже те, кто обычно ни от чего не отказывается, кто рад, что лишний раз появится в газете его фамилия, рад гонорару. А тут – ни в какую! Даже под псевдонимом!

Что прикажете в таких случаях делать? Не писать же самому! И вот – начинаешь выяснять, кто проталкивал в печать эту книгу, с кем дружит автор, кто ему покровительствует или кому покровительствует он.

Вот так однажды я вышел на Сергея Александровича Васильева, вальяжного поэта, который считал себя сатириком, потому что помимо обычных стихов и поэм писал пародии. Они удивляли меня тем, что совершенно не были похожи по стилю на тех, кого пародировали. Васильев даже не обыгрывал строчки, как будет потом делать Александр Иванов. Он придумывал для своей пародии какое-нибудь название, выносил в подзаголовок имя и фамилию поэта, в которого метил, и писал всё, что приходило ему в голову. Ну, в самом деле, попробуйте, догадайтесь, кто это:

*«Ты хочешь, милый, чаю?» —
Она воркует, чуть раскрыв уста
«Зачем мне чай, — резонно отвечаю, —
Ты завари лаврового листа!»*

Догадались? Вот и я бы не смог. А ведь это пародия на молодого Евтушенко. Васильев написал её в пятидесятые годы, когда Евтушенко обладал очень узнаваемым стилем.

А в литературных и околотитературных кругах Сергей Васильев был известен своей не опубликованной при его жизни поэмой «Без кого на Руси жить хорошо?» Он доказывал, что лучше всего жить на Руси без евреев. Не знаю, может, её из-за подобной животрепещущей постановки проблемы где-нибудь нынче напечатали: всё-таки это вам даже не двести лет вместе, а врозь и навсегда! Но я читал её в рукописи. Впрочем, поэму Васильева не печатали, но читать разрешали. На вечерах в ЦДЛ. Да и с печатаньем всё было не так просто. Она была набрана в «Крокодиле». Но в последний момент Васильев засомневался, решил подстраховаться, послал гранки в ЦК. Был 1949 год. Самое время поношения космополитов. Тем не менее в ЦК уклонились от оценки: «Печатайте на ваше усмотрение». Не одобренную начальством поэму печатать трусливый поэт так и не решился. В Интернете она сейчас есть. Вот – небольшой кусочек:

*– Зачем нам проза ясная?
– Зачем стихи понятные?
– Зачем нам пьесы новые,
спектакли злободневные
на тему о труде?
– Подай Луи Селина нам,
подай нам Джойса, Киплинга,
подай сюда Ахматову,*

*подай Пастернака!
– Поменьше смысла здорового,
а больше от лукавого,
взамен двух тонн свежатины
сто пять пудов тухлятины
и столько же гнильцы.
Один удар по Пырьеву,
другой удар по Сурову,
два раза Недогонову,
щелчок по Кумачу.
Бомбёжка по Софронову,
долбёжка по Ажаеву,
по Грибачёву очередь,
по Бубеннову залп!
По Казьмину, Захарову,
по Сёмушкину Тихону,
пристрелка по Вирте.
Статьи строчат погромные,
проводят сходки тёмные,
зловредные отравные
рецензии пекут.
Жиреют припеваючи,
друг другом не нахвалятся:
– Вот это жизнь, товарищи,
Какие гонорарищи
друг другу выдаём!
Спешат во тьме с рогатками,
с дубинками, с закладками,
с трезубцами, с трегубцами,
в науку, в философию,
на радио, и в живопись,
и в технику, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным,
Бернштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффенитефером,
Б. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным,
за Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили,
так нагло распоясались.
вольготно этак зажили,
что зарвались вконец.
Плюясь, кичась, юродствуя,
открыто издеваясь
над Пушкиным самим,
за гвалтом, за бесстыдной,
позорной, вредоносной,
мышинной вознёй
шуды-зубоскальники*

*в горячке не заметили,
как взял их крепко за ухо
своей рукой могучею
советский наш народ!
Взял за ухо, за шиворот,
за руки загребущие,
за когти вездесущие —
да гневом осветил!*

Ясно, что представлял собой Сергей Александрович Васильев, скончавшийся 2 июля 1975 года (родился 30 июля 1911-го)?

Звоню я, значит, Васильеву и предлагаю написать рецензию на какую-то (запомню!) уж совсем дрянную книжку (не помню и кто её автор).

– *Хорошая?* – спрашивает.

Что мне на это ответить? Вру:

– *Неплохая.*

– *И сколько нужно страниц?*

– *Четыре-пять*, – отвечаю. И, боясь спугнуть удачу: – *Но можно и меньше.*

– *Нет, зачем же меньше? Пять страниц – это будет смотреться. Поэт-то он хороший!*

– *Срок – неделя*, – говорю я. – *Подходит?*

– *А это уже от вас, мой милый, зависит*, – слышу с изумлением. – *Как напишите, так и звоните.*

– *То есть как «напишите»? Что я должен писать?*

– *«Рыбу», мой дорогой, «рыбу». А я по ней пройду рукой мастера.*

«Рыба», для тех, кто не знает этого жаргонного слова, – черновой вариант того, что ты хочешь получить от автора.

С ней, надо сказать, я намучился очень сильно. Легко ли хвалить то, от чего душу воротит? Да ещё размазывать это на пять страниц машинописного текста.

Одолею, в конце концов. Послал Васильеву с курьером. Звоню на следующий день и слышу:

– *Вы умеете писать. У вас копия осталась или вам вернуть эту рецензию?*

– *Но вы же*, – говорю, – *обещали пройти по ней рукой мастера!*

– *А для чего? Я её и так подпишу*, – отвечает Васильев. – *Она мне нравится.*

А в выплатной день он появляется у меня в кабинете, улыбаясь очень дружески:

– *И гонорар хороший заплатили! Спасибо!*

И жмёт мне руку.

2 июля – день памяти Владимира Набокова (он умер 2 июля 1977 года, а родился 22 апреля 1899-го). Все знают, что он был прозаиком и поэтом, как Лермонтов, как Бунин. Многие, конечно, знают Набокова-прозаика. По мне, «Другие берега» – исключительно сильная вещь. Набокова-поэта знают меньше, что справедливо: у него много пустых стихов. Но есть пронзительные, как например «Расстрел»:

*Бывают ночи: только лягу,
...в Россию поплывёт кровать;
и вот ведут меня к оврагу
ведут к оврагу убивать.*

*Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнёт в меня! —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг!*

Николай Максимович Минский, умерший в Париже 2 июля 1937 года (родился 27 января 1855-го), не был большим поэтом.

Его раннее творчество оценивается как предсимволизм. Во всяком случае Мережковский говорил о поэзии Минского как об открывающей пути в будущее, выделяя в ней патологию, пессимизм, иронию, тоску по смерти – то, что будет отличать стихи символистов.

В дальнейшем Минского числили даже в лидерах символистов. Хотя яркого следа он в русской поэзии не оставил. Мне думается из-за рассудочности. Автор философских трактатов, мистик, он и в стихах не столько выражает чувство, сколько делится с читателем той или иной мыслью, пришедшей ему в голову. Были в русской поэзии Баратынский, Тютчев, умевшие высказывать мысли, которые легли им на сердце. Минский словно пишет философскую прозу стихами. Впрочем, Блок ценил его стихотворение «Два пути»:

*Нет двух путей добра и зла
Есть два пути добра.
Меня свобода привела
К распутью в час утра.
И так сказала: «Две тропы,
Две правды, два добра.
Их выбор – мука для толпы,
Для мудреца – игра.
То, что доньне средь людей
Грехом и злом сльвёт,
Есть лишь начало двух путей,
Их первый поворот.
Сулит единство бытия
Путь шумной суеты.
Другой безмолвен путь, суля
Единство пустоты
Сулят и лгут, и к той же мгле*

*Приводят гробовой.
Ты – призрак бога на земле,
Бог – призрак в небе твой.
Проклятье в том, что не дано
Единого пути.
Блаженство в том, что всё равно,
Каким путём идти.
Беспечно, как в прогулки час,
Ступай тем иль другим,
С людьми волнуясь и трудясь,
В душе невозмутим.
Их счастье счастьем отрицай,
Любовью жги любовь.
В душе меня лишь созерцай,
Лишь мне дары готовь.
Моей улыбкой мир согрей.
Поведай всем, о чём
С тобою первым из людей
Шепталась я вдвоём
Скажи: я светоч им зажгла,
Неведомый вчера.
Нет двух путей добра и зла.
Есть два пути добра.*

Понятно, за что ценил это стихотворение Блок. Он чувствовал близость к этим строчкам. В них и в самом деле есть нечто неуловимо блоковское (особенно концовка). На насколько поэтичнее выражал такое мироощущение Блок!

3 июля

С Владимиром Осиповичем Богомоловым, родившимся 3 июля 1924 года, меня познакомила Слава Тарошина, работавшая в отделе литературы «Литературной газеты», которым я с 1991 года заведовал. Знакомство не продолжилось. Оно было формальным. Богомолов, насколько я помню, ничего в редакцию не принёс. И ни о чём с нами не договаривался. Скорее всего, он зашёл к Славе как к жене Юрия Давыдова, очень тогда известного исторического писателя.

В принципе, я Богомолова часто видел и прежде – до этого знакомства. Он жил напротив двух наших писательских домов: один вытянут по Астраханскому переулку, другой выходящий торцом в Безбожный (прежнее и нынешнее название – Протоповский). Дом напротив, в котором жил Богомолов, охранял милиционер, но не как посольство – в особой будке, а как консьержка – сидя в вестибюле первого этажа. Охрана дому полагалась, потому что он был заселён преимущественно работниками ЦК партии. Причём крупного калибра – завами отделов, завами секторов. Из чужаков, вроде Богомолова, помню только ещё одного жильца этого дома – Юрия Озерова, снявшего киноэпопею «Освобождение», удостоенную ленинской премии. Любопытно, что в писательском доме напротив жил с семьёй брат кинорежиссёра спортивный радио- и телекомментатор Николай Озеров.

Богомолов часто прогуливался по нашему двору вместе с писателем Владимиром Карповым, героем Советского Союза, служившим в разведке и утверждавшим, что он лично сумел взять чуть ли не 80 «языков», чему мало кто верил.

Я так понимал, что они с Карповым дружили, что меня удивляло. Карпов держался перед начальством невероятно подхалимски, за что начальство продвигало его наверх по служебной лестнице. А Богомолов обладал легендарной независимостью: отказывался вступать в Союз писателей, возвращал его секретариату письма с приглашением вступить на самых льготных условиях. В 1984 году, когда генсек Черненко наградил по случаю 50-летия Союза писателей большую группу литераторов, Богомолову дали орден Трудового Красного Знамени. Но он от награды отказался. Сказал, что к Союзу писателей отношения не имеет, а в награду за свои книги получает гонорары.

Вот почему меня удивляли его постоянные прогулки по двору с льстивым царедворцем Карповым.

А с другой стороны, я не понимал, почему тогда Богомолов не отказался от квартиры в цеховском доме. Ведь такая квартира будет поценнее ордена.

В воспоминаниях моего старшего товарища Лазаря Лазарева, хорошо знавшего Богомолова, я прочитал, что сначала тому дали квартиру в писательском доме в Безбожном. Но вид из окна ему не понравился: мешал работать. Что ж. Владимиру Осиповичу предложили квартиру в доме напротив – в ведомственном, цеховском. И он её взял.

Если он из принципа отказывался вступать в писательский союз, отказался от ордена, который ему собирались вручить как писателю, то почему соглашался взять квартиру в писательском доме? Почему, как я уже спрашивал, не отказался от дома ЦК?

Впрочем, всё это я высказываю именно в связи с непонятной мне дружбой Богомолова с Карповым, который в описываемое мною время уже был не замом главного в журнале «Октябрь», как прежде, а главным редактором «Нового мира». Пройдёт ещё немного времени и Карпов станет первым секретарём союза писателей СССР, депутатом, получит государственную премию, напишет двухтомный роман-биографию Сталина «Генералиссимус». Правда, я не знаю, как на эту биографию отреагировал Богомолов. Знаю только, что он очень резко выступил против романа Георгия Владимова «Генерал и его армия».

Да, наверное, Богомолов во многом был прав, побивая Владимова документами, извлечёнными из архивов. Хотя в художественном произведении писатель имеет право на домысел. Ну, а сталинская биография Карпова правдива, с точки зрения документа? А ведь там воспроизведено очень много эпизодов Великой Отечественной с участием Сталина. И все они обрисовывают невероятно умную и отчаянно героическую личность.

Можно было недоумевать ещё и по поводу неясностей биографии Богомолова. По одним сведениям он служил в войсках СМЕРШ, по другим – не служил, а описывал деятельность смершевцев в романе «В августе сорок четвёртого» по архивным документам, которые перед ним открыли.

Известно, что роман понравился тогда и Андропову, шефу КГБ, и Гречко, министру обороны. Это, конечно, не отменяет того факта, что роман Богомолова заслуженно пользуется известностью, а прежде был невероятно популярен. Но роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» тоже художественно неотразим. И тоже воспроизводит один из эпизодов Великой Отечественной – Сталинградскую битву. Но никакие посланцы министров к Гроссману за автографами не ездили. И понятно: роман был арестован, по слову тогдашнего идеолога Суслова, на двести лет. Не предвидел партийный идеолог перестройки и развала страны вместе с коммунистической идеологией.

Ну, а если совсем отвлечься от недоумённых вопросов, то следует сказать, что Богомолов был писатель Божьей милости. Написал он немного, но каждая его вещь оказывалась событием: «Иван», «Зося», «В августе сорок четвёртого» – вещи незаурядные. Умер 30 декабря 2003 года.

4 ИЮЛЯ

Михаил Светлов однажды написал

*На свете множество дорог,
Где заблудиться может муза,
Но всё распутать превозмог
Маршак Советского Союза*

Шуточные эти строчки выражают истину: Маршак действительно проторил для многих литераторов дороги, на которых их музы без него бы заблудились и, быть может, не вышли к читателю.

Я имею в виду и непосредственную редакторскую помощь. Маршак, как рассказывали наблюдавшие его редактуру люди, ничего не правил, но сажал рядом с собой автора и просил рассказать ему такую-то сцену, такую-то, а потом отсаживал автора за отдельный стол, давал ему бумагу и говорил: «*Опишите то, что Вы мне рассказывали*». Так появились многие новые авторы.

Мой друг Станислав Рассадин, часто бывавший у Маршака дома, говорил мне, как вспоминал Маршак о своей работе с Гайдаром. Гайдар был в глубокой душевной депрессии: не шла работа. Он исписывал страницы, а потом перечитывал и рвал их. Пришёл к Маршаку. Они просидели всю ночь, вместе сочиняя по сюжету, рассказанному Гайдаром Маршаку. Гайдар ушёл счастливый. А через полгода принёс целиком рукопись повести «Судьба барабанщика». Маршак её внимательно посмотрел. И обнаружил, что тот кусок, который они вроде писали вместе, полностью переписан Гайдаром. Маршак был счастлив.

Самуил Яковлевич Маршак, скончавшийся 4 июля 1964 года (родился 3 ноября 1887-го), оставил огромное литературное наследство. Здесь и замечательные детские стихи, и прекрасные взрослые, и изумительные переводы особенно из английской поэзии, и проза, и критика, и литературоведение.

Я и сам иногда в укор Маршаку вспоминаю, как в детстве читал его стихотворные подписи под карикатурами Кукрыниксов или Ефимова. Моему другу Бенедикту Сарнову Маршак их объяснял своеобразно: «*Без того (то есть без лживых стихов на потребу дня) не было бы и всего остального*». И надо сказать, что в этом объяснении есть свой резон. В молодости Маршак был не большевиком, а бундовцем. За что вполне мог поплатиться свободой в двадцатых. В начале тридцатых вокруг Маршака, работавшего в ленинградских журналах и издательствах, собралось много талантливых литераторов. Почти все они были арестованы в 37—38-м. Говорят, что доходили руки НКВД и до Маршака. Печать его обстреливала. Его обвиняли в формализме, в непедагогичности и бесполезности его детских стихов. Но уже решённое дело об аресте остановил Сталин, который якобы сказал, увидев фамилию Маршака в списке на ликвидацию: «*А зачем? Маршак хороший детский писатель!*» И сразу всё схлынуло. Нападки на Маршака прекратились. Пошли положительные отклики в прессе. В первое же большое награждение писателей в 1939 году Маршак получил высший орден – Ленина. Ну, а дальше – как из короба: ещё ордена, три сталинские премии...

Но не забурел Маршак. После смерти Сталина вёл себя достойно. Заступался за гонимых. Покровительствовал талантливым.

И завещал нам:

*Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.*

*Оно для дальнего пути —
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья
Дается нам недёшево!*

5 июля

Понимаю, что сейчас многих удивлю. Но из песни слова не выкинешь!

Я дружил с Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, который родился 5 июля 1930 года (умер 25 января 2001 года) и который жил в параллельном моему переулке. Мы ходили друг к другу через двор.

Как я любил его искромётный юмор, страсть к поэзии, к русскому романсу и то, как он исполнял романсы, подыгрывая себе на гитаре. Он сочинял музыку на слова русских (от Баратынского до современных) поэтов. И завораживал своим пением. Гости слетались к нему, как бабочки на свет!

Ему это нравилось. Он был очень общителен. В его доме я познакомился не только с Рубцовым, Передреевым или Владимиром Соколовым, но и с Андреем Битовым и его тогдашней женой Ингой Петкевич, с Юзом Алешковским, с Владимиром Максимовым, не с тем, который после падения коммунистов остервенело крыл в «Правде» ельцинский режим, – к этому времени мы с Кожиновым давно уже разошлись, а с тем ранним, кто ненавидел большевиков, мечтал уехать из Совдепии и встретил меня, вернувшегося из туристической поездки в Скандинавию, упрёком: *«Что же ты там не остался?»*

Анекдотов Кожинов знал уйму. Рассказывал их мастерски. Терпеть не мог Ленина, Сталина и вообще советскую власть. *«Совсем в маразм впал»*, – пожал он, например, плечами, когда ему сообщили, что Сергей Михайлович Бонди одобрил ввод советских войск в Чехословакию. *«Но Бонди ссылается на Пушкина, – сказали ему, – на пушкинский „домашний спор славян между собой“»*. *«Так домашний же, – подчеркнул Дима. – Польша в то время была территорией России. А Чехословакия сейчас? Нет, старик в маразме, раз не отличает агрессию от подавления бунта!»*

Вас это удивляет? Вы помните его статьи в «Правде» при Ельцине в поддержку Зюганова? Лично меня удивляют как раз эти статьи. Может, он почувал, что Зюганов не в пример Ленину может потащить страну к национализму? А к его монархическим воззрениям я был тогда снисходителен. Он не был антисемитом и не любил антисемитов. Поэтому я пропускал мимо ушей его учёные рассуждения об особой, мессианской роли России в мировом процессе. Но Сталина-то он точно терпеть не мог. Я это хорошо помню. А Зюганов любит Сталина именно за то, что тот тащил страну к очень похожему на гитлеровский новому порядку.

Впрочем, с Кожиновым мы не были единомышленниками. К тому же писал он небрежно, мало заботясь об аргументации собственных мыслей. Книга Кожинова о русской поэзии, изданная «Просвещением», представляет собой набор рекламных проспектов стихотворений, так сказать, от Пушкина (даже раньше) до наших дней. Его книжечка о Николае Рубцове пустовата. Да и взялся он в ней доказать недоказуемое. Рубцов обожал Есенина, явно подражал ему, а Кожинову захотелось, чтобы его рано погибший приятель продолжил тютчевскую традицию. И он назначил эту традицию Рубцову, так сказать, явочным порядком. Чему Рубцов, доживи он до выхода кожиновской книги, наверняка бы удивился. Я его знал, встречал, как уже говорил, у того же Кожинова, и помню, как переспрашивал он, чьи именно стихи поёт хозяин, когда речь шла о таких, как «Есть в осени первоначальной...» и даже «Я встретил Вас...». Зато оживлялся, подпевая, едва Вадим начинал петь Есенина. И любил читать наизусть «Анну Снегину» – внушительных размеров есенинскую поэму!

А книга Кожинова о Тютчеве? Откуда тот взял, что царь и его правительство считались с мнением поэта? Что Тютчев имел возможность влиять на внешнюю политику Александра II? Вы не найдёте этого ни в воспоминаниях тютчевской дочери Анны Фёдоровны, бывшей фрейлиной двора, ни в первой и достоверной биографии Тютчева, написанной его зятем Иваном Аксаковым. Вы этого вообще нигде, кроме кожиновской книжки, не найдёте. И не ищите,

не занимайтесь бессмысленным делом. Потому что любимым выражением Кожинова было: «Ну, это же совершенно очевидно!» Он и в статьях и книгах неизменно ставил: «совершенно очевидно». А это означало, что дело идёт об аксиоме, которая в доказательствах не нуждается.

«Жулик!» – говорили о нём мои друзья. Увы, чистоплотностью в литературе Дима не отличался.

А с другой стороны, как это ни парадоксально прозвучит после того, что я только что сказал, Кожинову был свойствен и некий аристократизм в литературе. Он терпеть не мог графоманов, какие бы посты те ни занимали. Ему надписывали книги многие, и многое из написанного он, полистав, ожесточённо выкидывал в мусорный бак. Он не стеснял себя в выражениях и оценках, и поэтому против него затаивались даже те, кто считали себя его единомышленниками.

Я прочитал несколько лет назад в микротиражном «патриотическом» листке статью одного из тех руководящих поэтов, чьи стихи Дима уж точно терпеть не мог. Якобы позвонил ему ночью Кожинов, выразил восхищение прозой, которую поэт напечатал в «Нашем современнике», и повторил своё неприятие его поэзии. Что-то мне во всё это плохо верится. Кожинов ложился не поздно и, в отличие от Сталина, спал по ночам. О прозе вообще предпочитал не отзываться. Знаю, что он не был поклонником Распутина, а у Белова любил только «Бухтины» и «Привычное дело». Впрочем, все люди меняются, а мы с ним раздружились ещё до горбачёвской перестройки. Так что о его пристрастиях и вкусах, начиная с эпохи Горбачёва, могу судить только по его публикациям. А уж о том, вставал ли он в горбачёвское и более позднее время ночью, чтобы обрадовать понравившихся ему авторов, или не вставал, – судить не могу, не знаю! Но есть у меня подозрение: всё это автор сочинил во время собственной бессонницы, вызванной уязвлённостью тем, что патриот Кожинов так и не признал его, патриота, стихи. «Патриоты» наивно считают, что всё хорошее в жизни им положено за их убеждения. В том числе и хвалебные отзывы. А этот патриот отличается особенной яростной требовательностью.

Раздружились мы из-за Юрия Селезнёва. Был такой агрессивный критик, приехавший из Краснодара и поселившийся в квартире Кожинова (считалось, что живёт он в общежитии Литинститута). Как и все кожиновские гости, он смотрел в рот хозяину, набираясь от него ума-разума. Но в отличие от Передреева или от того же рано умершего Рубцова, Селезнёв оказался зверским антисемитом. Так что, наслушавшись государственно-почвеннических лекций Кожинова, он явил собой гремучую смесь русского нацизма, которая взорвалась на собрании московских критиков в ЦДЛ, обсуждавших очередные литературные публикации. Третья мировая война, начала которой так бояться некоторые, – торжественно провозгласил Селезнёв, – давно уже идёт. И война эта с мировым сионизмом.

Такое заявление было оценено по достоинству. Почти тут же Селезнёв был приглашён занять кресло первого заместителя главного редактора журнала «Наш современник», печатал там статьи в духе того своего выступления. За не понравившийся кому-то в ЦК партии номер журнала, посвящённый Достоевскому, был снят со своего поста. Но – не пропадать же ценному кадру! – стал заведующим редакции серии «Жизнь замечательных людей», где немедленно подписал договор с Вадимом Кожиновым на будущую книгу о Тютчеве и с самим собой на книгу о Достоевском.

Личность Юрия Селезнёва и занимаемые им руководящие посты заставили меня переоценить Кожинова, который до этого казался мне человеком, не зависимым от внешних обстоятельств. Ещё как он от них зависел! «ЖЗЛ» была не только очень престижной серией, но и невероятно высокооплачиваемой. Ведь меньше чем сотысячным тиражом в ней книги не выходили. А это – чуть ли не по тысяче рублей (тогдашних!) за печатный лист. И Кожинов не устоял перед соблазном быстро разбогатеть. Вчерашний его жилец, получивший в Москве

квартиру, стал для него источником благ, всегда правым, высказывающим мысли, которые Кожин оспаривать не решался.

Мы много потом говорили о нём с Владимиром Соколовым, тоже любившим его, написавшим стихи, которые Кожин положил на музыку, тем более что в них была лестная для Димы характеристика: *«Пил я Девятого мая с Вадимом, / Неосторожным и необходимым»*. И Володя Соколов в конце концов расстался с Кожинным. *«Что Селезнёв?»* – говорил он мне. – *«Слышал бы ты, как Дима разговаривал по телефону с Глушковой. – За тридцать лет нашего знакомства я не наберу по весу столько сахара, сколько он высъпал на эту курву»*.

Злобные статьи поэтессы Татьяны Глушковой о поэзии, о критике, о литературоведении одно время привлекали к себе внимание литературной общественности. Особенно, когда она обрушивалась на Ахмадулину, которой подражала. Или когда уничтожала Давида Самойлова, **нерусского**, по её мнению поэта, который осмелился вторгнуться на чуждую ему территорию русской поэзии.

А Соколов имел в виду статью Глушковой, где она ругала Кожина и одновременно давала свой анализ стихотворения Фета. Анализ Кожину очень понравился. *«Чего она взъелась на меня?»* – миролюбиво говорил он мне.

Словом, надеюсь, понятно, почему я перестал встречаться с Вадимом Кожинным. Он на глазах утратил оригинальность, независимость, прямоту в суждениях.

Я не читал его исторических штудий, которые из номера в номер печатал в девяностые годы «Наш современник». Слышал только, что он открыл в русской истории какое-то хазарское иго, которое было якобы много тяжелее для русского народа, чем татарское. Потом слышал уже от него о хазарском каганате, когда Кожин выступал на семинаре поэтов, которым мы с Юрием Кузнецовым руководили на высших литературных курсах при Литинституте. Вадим утверждал, что совсем недавно нашли какие-то записки руководителей хазарского каганата, где они, исповедовавшие иудейскую религию, приказывали приобщить к ней и народ Древней Руси. *«И на каком языке написаны эти записки?»* – спросил я. *«Разумеется, на иврите»*, – ответил он.

Ну что на это можно было сказать? Ведь хазары – это тюркское племя, у которого был свой, вовсе не древнееврейский язык. А думать, будто все, принявшие иудаизм, говорят на иврите, то же самое, как считать, что православные говорят только по-гречески. «Жулик!» – вспомнил я, как отзывались о Кожине мои друзья. И с сожалением с ними согласился.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это моё сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Жена и дочь Городничего вряд ли были страстными любительницами чтения. Но Гоголь заставил их говорить о романе Михаила Николаевича Загоскина «Юрий Милославский», воссоздавая современные ему реалии. Гоголь хорошо знал, как невероятно популярен был этот роман. Его читали даже в таких медвежьих уголках страны, откуда, как говорит персонаж «Ревизора», *«хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь»*.

Михаил Николаевич Загоскин, скончавшийся 5 июля 1852 года (родился 25 июля 1789-го), до «Юрия Милославского» написал и поставил несколько пьес, которые пользовались успехом. Их автор внушал уважение и своей биографией. В 1812-м он записался в Петербург-

ское ополчение, вступившее в бой с французами под Полоцком. Полоцк русская армия взяла, а Загоскин был ранен в ногу и получил орден Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость». После лечения провоевал до 1814 года.

Кроме драм Загоскин писал ещё и стихи. Написал даже комедию в стихах «Урок холостым, или Наследники».

Но роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» превзошел по успеху у читателя все прежние сочинения Загоскина. Белинский назвал его сочинение «*первым хорошим русским романом*». Пушкин писал Загоскину:

«Прерываю увлекательное чтение Вашего романа, чтоб сердечно поблагодарить Вас за присылку „Юрия Милославского“, лестный знак Вашего ко мне благорасположения. Поздравляю Вас с успехом полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Все читают его. Жуковский провёл за ним целую ночь. Дамы от него в восхищении. В „Литературной газете“ будет о нём статья Погорельского. Если в ней не всё будет высказано, то постараюсь досказать».

Статья Погорельского в «Литературной газете» не появилась. Вместо неё появилась рецензия самого Пушкина, который продолжил свои похвалы:

«Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши – всё это угадано, всё это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной весёлости в изображении характеров Кириши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела».

(«Шиши» – это не большие пальцы, помещённые промеж указательных и средних, а лазутчики.)

Правда, на похвалах Пушкин не останавливается. Указывает и на недостатки романа. Но в целом Пушкин оценил роман Загоскина весьма положительно.

Вслед за «Юрием Милославским», вышедшим в 1829 году, последовал новый роман Загоскина «Рославлёв, или Русские в 1812 году» (1831), упрочивший успех Загоскина у читателей. Его избирают действительным членом Российской академии, а когда она присоединяется к академии наук, Загоскин становится почётным академиком по отделению русского языка и словесности.

Он пишет роман о временах князя Владимира «Аскольдова могила» (1833). Но с этим романом происходит осечка. Его встречают холодно. И Загоскин на время прекращает писать на исторические темы. Его повести на темы современности в общем встречены неплохо. Но не сравнишь с тем, как встречали «Юрия Милославского».

В дальнейшем Загоскин вернулся к исторической теме. Написал романы «Кузьма Петрович Мирошев» – о времени Екатерины II (1842), «Брынский лес» – о начальной поре правления Петра (1846), «Русские в начале восемнадцатого столетия» (1848). Все они были хорошо приняты критикой и читателями.

А что до «Аскольдовой могилы», то на её основе Загоскин написал либретто для оперы композитора А. Н. Верстовского. Она была поставлена в 1835 году и пользовалась не меньшей популярностью, чем романы Загоскина. Популярна она и по сей день.

Причудливой оказалась судьба Фаддея Венедиктовича Булгарина, родившегося 5 июля 1789 года.

Его отец, республиканец, сосланный в Сибирь за убийство русского генерала, дал сыну имя в честь Тадеуша Костюшко (настоящее имя Булгарина Ян Тадеуш Кшиштоф). Сын поступил в 1798 году в Петербурге учиться в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, который с 1800 года стал именоваться Первым кадетским корпусом. Булгарин окончил его в 1806 году. Плохо знавший русский язык, он постоянно конфликтовал с товарищами по корпусу.

В 1806—1807 годах участвовал в военных действиях против французов. Под Фридрихсдорфом был ранен и награждён орденом Св. Анны 3 степени. В 1808 году был участником шведской кампании.

В это время он писал басни и сатиры. За одну из сатир провёл несколько месяцев под арестом. В день своего дежурства одетый в маскарадный костюм попался на глаза цесаревичу (отказавшемуся впоследствии от трона) великому князю Константину Павловичу. Начались трения с начальством, которые закончились увольнением Булгарина из армии в чине поручика в 1811 году.

Булгарин перебрался в Варшаву, оттуда в Париж, из которого выехал в Пруссию. Как рассказывает он сам, в Пруссии он был мобилизован в армию Наполеона, воевал в Испании в составе Польского легиона в уланском полку. В 1812 году участвовал в походе Наполеона в Россию в частично сформированном из поляков 2-м корпусе маршала Удино. Получил чин капитана и, по его словам, которые так и остались неподтверждёнными, орден Почётного легиона. В 1813 году участвовал в сражениях при Бауцене и под Кульмом. В 1814-м сдался в плен прусским войскам и был ими выдан России.

По окончании войны союзной армии с Наполеоном вернулся в Варшаву. Ненадолго переехал в Санкт-Петербург, оттуда в Вильну, где управлял находящимся поблизости имением своего дяди. Публиковался на польском языке и, как правило, анонимно в местных журналах. Общался с либеральными польскими литераторами и преподавателями Виленского университета, входившими в Товарищество шубравцев (бездельников). Был даже избран почётным членом Товарищества. И в дальнейшем поддерживал контакты с шубравцами.

В 1819 году окончательно поселился в Петербурге. Завязал контакты с Грибоедовым, Рылеевым, Кюхельбекером, братьями Бестужевыми. Печатался. Начал издательскую деятельность.

Особенно дружил с Грибоедовым и с его женой, что в будущем опишет Ю. Н. Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара».

Позиционировал себя как либерала, но в 1834 году изменил свои взгляды с либеральных на консервативные.

После разгрома восстания декабристов спрятал архив Рылеева по его просьбе. И этим спас Грибоедова и многих других, на которых в архиве имелись компрометирующие материалы.

С созданием III Собственной Его Императорского Величества канцелярии сотрудничал с ним. Ознакомившись как сотрудник охраны с рукописью Пушкина «Борис Годунов», на которую написал для царя отзыв, украл некоторые вымышленные Пушкиным ситуации, для своего романа «Дмитрий Самозванец», за что заслужил от Пушкина репутацию осведомителя.

В разгар Польского восстания к новому 1831 году получил от императора брильянтовый перстень (формально за роман «Иван Выжигин»).

Успешно и плодотворно занимался издательской деятельностью. Создал первый в России театральный альманах «Русская талия» (1825), где опубликовал отрывки из «Горя от ума» Грибоедова.

Помимо журналов, вместе с Гречем издавал первую частную политическую и литературную газету «Северная пчела», которая вошла в историю благодаря нападкам на Пушкина.

Огромный успех выпал на долю романов о походе Ивана Выжигина, в которых Булгарин выступил основоположником жанра русского авантюрного плутовского романа. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что успех был рыночным: романы Булгарина раскупались быстро. Во многом именно их имея в виду, Пушкин писал в апреле 1834 года Погдину: *«Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так».*

В то же время такой литератор, как Бестужев-Марлинский, высоко отзывался о Булгарине:

«Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какой-то военной искренностью и правдой, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкой молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей».

Разумеется, прав был Пушкин, который уже тогда почувствовал, как губительна для литературы зависимость от «вшивого рынка», то есть от барахолки. Но, повторюсь, рыночный успех Булгарина и Сенковского многих сбивал с толку и с понимания, для чего вообще существует литература. Не скажу, что с того времени вопрос этот окончательно прояснён для читателей.

Умер Булгарин 13 сентября 1859 года действительным статским советником, то есть не только литературным генералом.

Моё знакомство с Иосифом Марковичем Машбиц-Веровым, родившимся 5 июля 1900 года, было коротким. Оно уложилось в несколько командировочных дней. Вместе со мной в Куйбышев от «Литературной газеты» был послан поэт Владимир Дагуров. Володя получил задание посмотреть стихи куйбышевских поэтов на предмет публикации. А мне ничего смотреть было не надо. Я ехал не от газеты, а от союза писателей РСФСР. Включил меня в делегацию бывший воронежец поэт Миша Шевченко, тогда работник аппарата, а позже ставший секретарём.

Нас посылали для выступлений не только в Куйбышеве, но главным образом в новом городе Тольятти, где совсем недавно пустили первую линию автомобильного завода.

Ещё не сомкнулись волжские воды над затопленными зданиями исчезнувшего с карты города Ставрополь-на-Волге, частью которого и стал Тольятти. Ещё не снесли всех гулаговских бараков, где жили заключённые, строившие Куйбышевскую ГЭС. Вот и показали нам и затопление, и один из таких бараков. Через два года я был в ГДР, видел барак, оставшийся от гитлеровского концлагеря в Бухенвальде. Сравнивал с тем, что видел под Куйбышевом. Похожи!

Ну, а Машбиц-Веров тут причём?

А притом, что он председательствовал на научной конференции, которая состоялась в рамках нашей поездки. Конференцию организовал Куйбышевский пединститут, где Иосиф Маркович был профессором и, кажется, заведовал кафедрой.

Конференция увязывалась с посещением Тольяттинского автозавода и была посвящена теме рабочего класса в советской литературе. Скучнейшая, конечно. С барабанными докла-

дами и деревянными прениями. И Машбиц-Веров мало чем отличался от остальных её участников.

Может быть, я с ним и знакомиться не стал бы, если б не банкет. Он был дан силами института и местного отделения союза писателей. И потому выпивки стояло много, а когда водка была выпита, принесли ещё.

Вот здесь, хорошенько, как говорится, приняв на грудь, я стал вспоминать увиденный мною лагерный барак: как же там размещались на трёхэтажных нарах, неужто не замерзали в щелястом саманном строении? Или оно уже сейчас дыряво, а прежде всё было замазано?

Было шумно, но старичок-профессор, находившийся неподалёку от меня, услышал. Подошёл ко мне и обстоятельно ответил на все вопросы.

Не отказался от моего предложения выпить ещё. И ответил на новый мой вопрос: откуда ему всё это известно?

А он в таком лагере находился, объяснил Машбиц-Веров. Взяли его в 1938-м. Осудили в 40-м. Дали восемь лет исправительно-трудового. А в 42-м сперва приговорили к расстрелу, но потом заменили десятью годами.

– *Сколько же вы просидели?* – спросил я.

– *Это в тюрьме сидят,* – усмехнулся Машбиц-Веров. – *А в лагере не посидишь. Считайте. В 38-м арестовали, а в 54-м освободили. Реабилитировали в 55-м.*

– *Шестнадцать лет!* – ахнул я.

– *Да,* – сказал старичок и назидательно поднял палец: – *по ложному доносу!*

– *А вам сказали, кто доносчик?* – спросил я.

– *А я и сам догадался,* – ответил Машбиц-Веров. – *Работал у нас мерзавец, был зам секретаря парткома. Как раз перед арестом завёл со мной разговор: почему я не вступаю в партию, надо вступить: ведь я же на идеологической работе.*

– *Обещал дать рекомендацию,* – осклабясь, добавил Иосиф Маркович.

– *Так и не вступили,* – поддержал я эту угрюмую шутку.

– *Вступил,* – сказал Машбиц-Веров и на моё удивление ответил: — *Потому что партия за таких мерзавцев не отвечает, потому что правда на её стороне, и палачам меня в этом переубедить не удалось!*

Признаться, я сначала ошалел от такого пафоса. А потом подумал, кто я такой, чтобы судить этого старичка!

Здесь подошёл лучезарно улыбающийся Володя Дагуров. А я знал, что последует за такой его улыбкой.

– *Ещё?* – спросил я Володю.

– *Правильно,* – ударил он меня по плечу. – *Пошли, я тебя познакомлю с одним поэтом.*

И я распрощался с Иосифом Марковичем, который прожил после этого относительно долго: скончался 17 декабря 1989 года.

Алёша Дидуров! Алексей Алексеевич Дидуров, скончавшийся 5 июля 2006 года (родился 17 февраля 1948-го). Поэт, драматург, бард. Создатель и ведущий рок-кабаре «Кардиограмма», где кто только не выступал: и Булат Окуджава, и Тая Бек, и Юлик Ким, и Володя Вишневский, и Женя Рейн. А ещё Виктор Цой, Александр Башлачёв, Юрий Шевчук и, как говорится, т. д. и т. п.

Мы познакомились с ним в журнале «Юность», где он в начале семидесятых работал в отделе публицистики.

Незадолго до его смерти мы сидели с ним в нижнем буфете ЦДЛ. И он сказал: «*А знаете, Гена, я готов умереть. Мне только жалко своих планов на будущее*».

Типичное стихотворение Алёши:

*Я знаю, все договорятся,
Отыщут умные слова.
И перестанут притворяться,
И все заборы – на дрова...
И будет мир сплошным газоном.
И уходить с него не смей!
А над тобой с улыбкой сонной
О, пусть летит бумажный змей!
Все, как вином, напьются правдою.
И даже мётлы расцветут.
И всех любимых пересватают,
А нелюбимых – разведут.
Непонятости злые муки
Не будут впредь терзать умы,
И наши внуки... наши внуки...
Ты мне кладёшь на плечи руки,
Смейшься: «Да, уже не мы...»*

Эти стихи положил на музыку Юрий Лоза. Но мне они нравятся без мелодии. Точнее у них – своя мелодия, которая меня притягивает больше, чем композиторская.

6 июля

Один из рано умерших писателей, с которым я дружил, – Борис Исаакович Балтер, родившийся 6 июля 1919 года.

Боря и ещё один мой друг – Лёва Кривенко были очень близки с Паустовским, который их, фронтовиков, выделял ещё когда руководил семинаром прозы в Литературном институте.

Балтер участвовал в обеих войнах – в финской и Великой Отечественной. Командовал полком дивизионной разведкой. Кончил войну майором. Поступил в академию имени Фрунзе. И даже год (1945—1946) в ней отучился. Но был отчислен. Официально по болезни. Но, как писал он сам, *«незадолго до войны меня убедили, что я нужен армии и должен избрать военную профессию пожизненно. Она бы и была пожизненной. Но на войне меня не убили. А после войны офицеров осталось больше, чем нужно было в армии в мирное время. Мне предложили выбрать новую пожизненную профессию по моему усмотрению...»*. Почему предложили именно ему, Борис не сомневался: из-за пятого пункта, то есть из-за национальности. После войны набирала обороты политика государственного антисемитизма. Майор, пришедший в академию, должен был выйти из неё полковником. Руководство академии этого позволить Балтеру не захотело.

Борис поступил в Литературный институт. Учился в нём (1948—1953). За год до окончания в альманахе «Владимир» напечатал повесть «Первые дни» – о начале войны. Она потом вошла в первую книжку Балтера (1953). Ни повесть, ни книжка не были художественно совершенны. Но в них была правда войны, которую уже тогда пытались замолчать. Тем более правда о начале войны. Словом, повесть не заметили. Институт Балтер окончил как раз в тот момент, когда евреев на культурную (она считалась идеологической) работу не брали.

И здесь Балтеру помог однокурсник хакас Михаил Кильчичаков. Он замолвил слово за товарища в Хакасском обкоме. Борису дали жилплощадь в Абакане и назначили заведующим отделом в хакасском НИИ языка, литературы и истории. На этом посту он обрабатывал подстрочники хакасских сказок. В переводе, литературной обработке и с предисловием Балтера вышли «Хакасские народные сказки» и две книги исторических повестей о прошлом хакасского народа «Степные курганы» и «О чём молчат камни».

В Москву он переехал благодаря Виктору Полторацкому, который, став главным редактором только что открывшейся газеты «Литература и жизнь», предложил Борису место репортёра.

Но долго на этом месте Балтер не пробыл. Он не умел приукрашивать действительность. *«Правда всегда горьковата, – писал Борис своему учителю Паустовскому. – Я благодарен Вам за то, что люблю этот привкус»*. Он-то любил и писал, что видел. А редакцию это не устроило. Он перешёл в «Литературную газету» на нештатную работу при знаменитом в ту пору отделе литературы. Отвечал на письма вместе с Наумом Коржавиным и Владимиром Максимовым. С ними и с работниками отдела Лазарем Лазаревым, Бенедиктом Сарновым, Станиславом Рассадиным Борис сохранил дружбу на всю жизнь.

Известность принесла ему повесть «До свидания, мальчики!», опубликованная в «Юности» в 1962 году (Балтер назвал её по строчке из песни Булата Окуджавы, с которым дружил). Точнее, она была републикована. Потому что за год до этого появилась в разгромленном властями сборнике «Тарусские страницы» под названием «Трое из одного города». Справедливо ради, отмечу, что Балтер сменил в ней не только заглавие, но существенно её переработал.

Я хорошо помню, как трудно было взять в библиотеках журнал с этой повестью. На него записывались в очередь. Вышедшая отдельной книгой в 1963 году повесть на полках магазинов не лежала. Скупали, как только узнавали о поступлении в магазин!

Повесть «До свидания, мальчики!» была переведена на многие языки мира.

Балтеру предложили встать на учёт в партийную ячейку «Юности» (*«Я вступил в партию не для карьеры и не ради того, чтобы мне легче жилось, – писал Борис. – В феврале 1942 года под Новоржевом 357-я стрелковая дивизия попала в окружение. В этой обстановке самой большой опасности подвергались коммунисты, войсковые разведчики и евреи. Я был начальником разведки дивизии и евреем. Тяжело раненный, я вступил в партию»*). Началась недолгая эпоха его триумфа. Вместе с В. Токаревым он написал пьесу по мотивам повести. Она шла во многих театрах. Вместе с кинорежиссёром Михаилом Каликом Балтер написал по мотивам повести сценарий. В фильме «До свидания, мальчики!» Михаила Калика трёх друзей сыграли Евгений Стеблов, Николай Досталь и Михаил Кононов. Причём для Стеблова и Кононова это были дебютные роли. А Н. Досталь знали до этого, как режиссёра.

В октябре 1965-го «Юность» напечатала рассказ Балтера «Проездом». Рассказ был данью популярности Балтера, но её не укреплял. Читатели ждали новых публикаций.

И не дождались. В 1968 году Балтер подписал письмо советскому руководству в защиту арестованных Юрия Галанкова и Александра Гинзбурга. Руководство приказало первичным партийным организациям разобраться с коммунистами, подписавшими письмо. Ячейка «Юности» фактически выступила в защиту Балтера. *«Для меня, – сказал, например, будущий министр культуры России, а тогда заведующий отделом критики журнала Евгений Сидоров, – майор Борис Балтер являет собой пример подлинного коммуниста»*. Получив выговор, Боря отправился в райком партии, где его спросили, кто ему дал подписать письмо и кто передал письмо западным корреспондентам. Категорически отказавшись сообщить, кто дал ему подписать письмо, на второй вопрос Балтер, усмехнувшись, ответил, что это ни для кого не является секретом и что на Запад подобные материалы передаёт известный стукач Луи Филипп.

У Бориса была смешная привычка путать имена и фамилии. Вот и здесь. Он назвал имя французского короля по созвучию. Имя и фамилия известного стукача, работавшего в АПН, была Виктор Луи.

Разумеется, не эта путаница побудила райком исключить Балтера из партии. Борис вёл себя на том заседании вызывающе. Не только не повинился, но сказал, что, подписав в письмо, он поступил согласно своей партийной и гражданской совести.

В СССР исключение из партии подчас было исключением из жизни. Особенно, когда речь шла о писателях. Печататься под своим именем Балтер больше не мог. Все заключённые с ним договоры были расторгнуты. Друзья нашли для него выход. Ему давали подстрочники прозы писателей национальных республик. И он обрабатывал их. Чаще всего под именем кого-нибудь из друзей, который потом получал и отдавал ему деньги за перевод.

Неподалёку от подмосковного дома творчества писателей «Малеевка» в деревне Вертушино Борис приобрёл старый дом, который перестроил вместе с мастерами. Там мы с ним встречались, когда я приезжал в Малеевку.

Там Борис и умер 18 июня 1974 года.

С Василием Павловичем Аксёновым, умершим 6 июля 2009 года (родился 20 августа 1932-го), я познакомился в начале шестидесятых в «Юности». Он дружил с критиком Станиславом Рассадиным, который был и моим другом. Одно время они с Рассадиным были не разлей вода. Даже вместе писали от Васиного имени статью в «Правду», после того как Хрущёв на встрече с интеллигенцией обрушился на Аксёнова, заподозрив, что тот выступает мстителем за репрессированных родителей. «Правда» предоставила тогда возможность оправдаться обруганным Хрущёвым на той встрече писателям.

А потом Вася опубликовал в «Литературной газете» сатирический рассказ, герой которого был литературным критиком по фамилии Рассолов. И Рассадин с Аксёновым рассорились навсегда.

На наших с Васей отношениях их ссора не отразилась. Мы хорошо относились друг к другу. В то время Аксёнов был женат на Кире, родственнице моего старшего друга – Владимира Михайловича Померанцева, и мы встречались и у Владимира Михайловича, жившего у метро «Семёновская».

Ранние произведения Аксёнова «Коллеги», «Звёздный билет», «Апельсины из Морокко», «Пора, мой друг, пора» мне нравились. Конечно, в них был налёт ремаркизма, в чём упрекали Василия критики. Но Вася писал, не отступая от исторической правды: мы все тогда увлеклись освобождёнными от сталинских запретов и возвращёнными нам Ремарком и Хемингуэем. Так что это не Аксёнов подражал Ремарку, а его герои. Вася же зафиксировал в своих романах время.

Но потом большие вещи Аксёнова мне нравиться перестали. Началось это с «Затоваренной бочкотары» и продолжалось до самого отъезда Васи из СССР в 1980 году.

Ни «Ожог», который мне дал почитать сам Аксёнов, ни самиздатовский «Остров Крым» меня не увлекли. Ему я это не говорил, но мне кажется, что он это почувствовал. Однако на наших отношениях это не сказывалось.

Зато я очень любил его рассказы. «На полпути к луне», «Папа, сложи!», «Победа», «Местный хулиган Абрамашвили». Я носился с ними как с писанной торбой. Всем их рекомендовал. Хвалил их автору. И Вася чувствовал, что я не кривлю душой.

При мне в писательском доме творчества в Дубултах Гриша Поженян, Овидий Горчаков и Аксёнов сочиняли роман-пародию на западный боевик. Гриша и Вася приносили мне написанные главы. Я отнёсся к ним без восторга. Потом книга «Джин Грин – неприкасаемый» была напечатана под коллективным псевдонимом Гривадий (ГРИша+ ВАся+ овидИЙ) Горпожакс (ГОРчаков+ПОЖенян+АКСёнов). Но я её целиком так и не прочёл.

Как известно, Аксёнов уехал в Америку в 1980 году после того, как выступил одним из редакторов-составителей неподцензурного альманаха «Метрополь». Позже Феликс Кузнецов, первый секретарь московской писательской организации и ретивый погромщик талантливых людей, утверждал, что Аксёнов сознательно спровоцировал скандал, который ему был выгоден на Западе. Это ложь. Вася был человеком добрым и бескорыстным. Никаких сценариев заранее не проигрывал. Его имя на Западе значило много и без «Метрополя». А его не опубликованные в СССР книги «Золотая наша Железка», «Ожог» и «Остров Крым» нашли своего издателя и читателя в Америке как раз тогда, когда он в неё приехал.

Там Аксёнов работал профессором русской литературы в разных университетах. Больше всего на последней своей работе в университете Джорджа Мейсона в Виргинии, где начал читать лекции за два года до возвращения ему советского гражданства и куда приезжал преподавать и после того как вернулся в СССР.

На Западе, кстати, он продолжал проявлять свою удивительную работоспособность. Написал пять или шесть романов. Рассказы. Кстати, выучил английский настолько, что смог писать и на нём. Его роман «Желток яйца» был первоначально написан по-английски. Вася потом перевёл его на русский.

Последним законченным романом Аксёнова стала «Таинственная страсть». Она издана с подзаголовком «Роман о шестидесятниках». Здесь Аксёнов поступил, как Катаев: укрыл под прозрачными псевдонимами легко узнаваемых мастеров литературы и культуры шестидесятых годов.

Лев Васильевич Пумпянский умер 6 июля 1940 года (родился 5 февраля 1891-го).

В 1918—1919 гг. жил в Невеле, преподавал литературу в Невельской единой трудовой школе и участвовал в деятельности Невельского философского кружка вместе с другими учеными М. М. Бахтиным и М. И. Каганом.

В 1921—1924 гг. преподавал литературу в Тенишевском училище Петербурга. Участвовал в работе сектора по изучению русской литературы XVIII века в ИРЛИ РАН (Пушкинском доме).

По делу религиозного кружка «Воскресенье» был арестован в 1928 году, но через непродолжительное время выпущен: компромата на Льва Васильевича следователи не нашли.

В 1934 году Пумпянский – профессор Ленинградской консерватории, а в 1936-м – профессор филологического факультета Ленинградского университета.

Был выдающимся исследователем литературы XVIII века и творчества её основателей – Ломоносова, Тредиаковского, Кантемира. Оставил замечательные труды по творчеству Пушкина, Лермонтова и Тютчева, по истории русского классицизма и сентиментализма.

Считается, что отдельные черты Пумпянского изображены в образе Тептелкина в романе К. К. Вагинова «Козлиная песнь» и в Пупочке – персонаже романа философа А. Ф. Лосева «Женщина-мыслитель».

Пумпянский оставил нам в своих записях лекции и выступления М. М. Бахтина 1924—1925 гг. Есть они в Интернете.

7 июля

Литературный критик Владимир Фёдорович Огнев, родившийся 7 июля 1923 года, в шестидесятых и в годы застоя считался человеком прогрессивных взглядов.

Я начал знакомство с ним, когда купил его небольшую «Книгу про стихи» в год её выхода – в 1963-м. Что ж. Дурных поэтов Огнев не хвалил. Хвалил хороших. Правда, о плохих он, как правило, и не писал, но я не сомневался, что их он не любит.

Потом, в «Литературной газете» состоялась и непосредственное наше знакомство. Огнев много писал о литературе стран так называемой народной демократии. Часто ездил туда в командировки от Союза писателей и от нашей газеты. Писал о литераторах из союзных советских республик – о Гамзатове, о Марцинкявичусе, о грузинских писателях.

Меня смущала близость Огнева к Георгию Мокеевичу Маркову – первому секретарю Союза писателей. Марков много способствовал заграничным командировкам Огнева, сделал его чуть ли не своим советником по литературе стран народной демократии. И всячески поощрял. Хотя бы тем, что занял Владимир Фёдорович номенклатурный пост президента Литфонда СССР.

Литфонд в писательском фольклоре называли «лифондом» и расшифровывали как личный фонд секретарей Союза.

Дело в том, что был поставлен верхний предел на пособие, которое мог запросить у Литфонда нуждающийся писатель. Я никогда ничего у Литфонда не просил, поэтому боюсь соврать, но, кажется, что верхний был в 1500 или 2000 рублей. Такую сумму Литфонд мог выдать только на условиях займа. Безвозвратная ссуда, полагающаяся нуждающемуся писателю, была много меньше.

Так вот. Рассказывали, что каждый январь правление Литфонда рассматривало просьбу секретаря союза писателей (фамилию я знаю, но не назову, чтобы задним числом не обвинили в клевете) о выдаче ему предельной возвратной ссуды. Разумеется, ссуда ему выдавалась. А в декабре, подводя итоги года, правление снова возвращалось к выданной секретарю ссуде. Было у правления право списывать эти деньги в исключительных случаях. Исключения не прописывались, но понятно, что их легко придумать: тяжёлая болезнь или там какое-нибудь природное бедствие: пожар, например. Легко догадаться, что для секретаря исключение находили. Деньги он не возвращал.

Тот, кто читал «Шапку» Владимира Войновича, помнит об иерархии писателей, которую устанавливал литфонд. Это касалось любого вида обслуживания – от распределения путёвок до распределения дач.

Словом, пост, который занял Владимир Фёдорович, был внушительный.

Но особенно он оказался лакомым, после того как Союз писателей СССР приказал долго жить. Руководители Литфонда не церемонились: приватизировали и продавали на сторону былую общую писательскую собственность.

Так и получилось, что московские писатели остались без своей роскошной поликлиники, оборудованной новейшей медицинской техникой. Называли весьма крупную сумму, которую поделили между собой после её продажи Владимир Огнев и главный врач поликлиники Евгений Нечаев.

Печально, конечно, но, кажется, что Владимир Фёдорович Огнев останется в истории литературы поступками, не имеющими никакого отношения к самой литературе.

8 июля

Помню, вызывает меня Кривицкий, заместитель главного редактора. «*Геннадий, – говорит, – нужны письма в поддержку присуждения Егору Исаеву ленинской премии. Набросайте три. Одно от имени студента, другое – от рабочего, а третье – вообще из какого-нибудь сибирского региона, подписанное несколькими читателями*». Знал, конечно, Евгений Алексеевич, что были у нас в отделе подлинные письма о поэме Егора Исаева «Даль памяти», недоумевающие, возмущающиеся: за что выдвинули эту малограмотную поэму на ленинскую премию? Я сам их Кривицкому показывал. Усмехался в ответ Евгений Алексеевич: вот, дескать, показать бы их Егору, но не вздумайте, Геннадий, не надо! Знал Кривицкий, да и я знал, да и кто из околосредственной публики не знал, что продвигает Исаева сам Михаил Васильевич Зимянин, секретарь ЦК по идеологии. Егорушкой его называет, глазки сладко прикрывает, слушающая исаевское чтение.

Три письма накануне созыва Комитета по премиям – такой заказ не оставляет сомнений: премию, стало быть, дают! «*Дают!* – подтверждает Кривицкий. – *Действуйте!*»

Или другое воспоминание. Я не помню – зачем, зашёл к поэту Николаю Старшинову, который живёт в писательском доме в Безбожном, рядом с моим – в Астраханском. У Коли включён телевизор, его жена Эмма смотрит программу «Время». Слышим – зовёт Эмма: «*Смотрите!*» Подходим: по случаю юбилея Егор Исаев удостоен звания героя соцтруда. А вот и он сам. Делится с интервьюершей фактами фронтовой биографии: «*Сидим, бывало, с ребятами в землянке, байки травим...*» На что Коля сказал: «*Верный признак, что Егор не воевал. В землянках офицеры жили, а мы, солдаты, в окопах. Да и какая у Егора война?* – он достал с полки тоненькую книжку – первый исаевский сборник стихов и показал мне аннотацию. – *Видишь, что написано: „Служил в конвойных войсках в Австрии“?*»

Да, и в самом деле – какая война была у Егора Александровича Исаева, умершего 8 июля 2013 года (родился 2 мая 1926-го)? С той войны у него две медали – «За оборону Москвы» и «За победу над Германией». Не густо. Потом уже много позже к юбилею Победы получил, как все фронтовики, орден Отечественной войны II степени...

Егор был на редкость малограмотным человеком и поэтом. Но его заприметил и стал продвигать Николай Васильевич Свиридов, работавший сперва в ЦК партии, а потом председателем Госкомпечати РСФСР. Убеждённому националисту Свиридову взгляды Исаева очень пришлись по душе, и он не только закрепил Егора на посту заведующего редакцией поэзии издательства «Советский писатель», но и поспособствовал тому, чтобы оброс Исаев необходимыми связями с влиятельнейшими людьми. Вот откуда знакомство Исаева с секретарём ЦК КПСС М. В. Зимяниным, который, как я уже говорил, расположился к Егору, пробил ему ленинскую премию, сделал секретарём большого Союза писателей. Хамоватый Егор никогда не отвечал по телефону на моё «здравствуй», всегда нукал после того, как я представлялся, так что, обнаружив это, я больше с ним не здоровался, а называя себя, немедленно переходил к делу. «*Ну что, – лениво-небрежно спрашивал Исаев, – даёт „Литературка“ на меня рецензию?*» «*Спроси об этом Кривицкого*», – отвечал я. Свою маловразумительную поэму Егор печатал по частям и жаждал положительного отклика на каждую публикацию. Кривицкий его не разочаровывал. Тем более что, как все хамы, Егор был холуём сильных мира сего. А, как все холуи, набивал себе цену. В разговорах с нашим заместителем главного редактора намекал на связи с такими людьми (куда до них Зимянину!), от чего у Евгения Алексеевича Кривицкого перехватывало дыхание.

Большой кабинет Кривицкого располагался стенка в стенку с кабинетом Сырокомского. Егор однажды, попугав как всегда Евгения Алексеевича, перешёл к чтению отрывков из своей поэмы. Читал Егор долго и очень громко, подвывая в ударных местах. Я, придя к Кривиц-

кому раньше Исаева, слушал чтение с тоской: оно затягивалось, а дело, по которому я зашёл, было срочным. Но распахнулась дверь кабинета – и Сырокомский резко оборвал чтеца: «*Это ещё что за концерт в рабочее время?*» «*Читаю из новой поэмы, Виталий Александрович!*» – умильно заулыбался Егор. «*Так пригласите Кривицкого к себе домой или сами к нему идите и там читайте,* – жёстко сказал Сырокомский. — *А здесь вы мешаете людям работать!*»

Он повернулся и вышел, а съёжившийся Егор испуганно посмотрел на Кривицкого, тихо спросил: «*Как ты думаешь, он не помешает рецензии?*» «*Думаю, нет,*» – ответил Евгений Алексеевич, а когда Исаев ушёл, в сердцах сказал мне: «*Вот трепло!*» Я понял, о чём он: если б Егор на самом деле тесно общался с теми, о ком он только что ему, Кривицкому, рассказывал, пугаться Сырокомского он бы не стал.

О дружбе Исаева со Свиридовым я узнал от Анатолия Передреева. Толя жил в Грозном, его жена Шема работала в вагон-ресторане фирменного поезда, на котором Передреев частенько приезжал в Москву. Здесь, в Москве, он довольно много печатался, здесь брал в издательствах подстрочники для переводов. Навсегда перебраться в Москву было заветной мечтой Толи и Шемы.

И Егор им помог. После того, как Передреев напечатал в кочетовском «Октябре» статью «*Читая русских поэтов*», где обругал стихотворение Пастернака «*О, знал бы я, что так бывает...*» – обрадовал русскую партию.

И Исаева, её активного члена, тоже. Встретив Передреева в издательстве «Советский писатель», где Егор, как я уже сказал, работал заведующим отдела поэзии, он зазвал Толю к себе в кабинет, долго дружески с ним беседовал, выведывал, не нуждается ли тот в чём-нибудь. И, узнав, что мечтает Толя о московской прописке, позвонил Свиридову, с которым говорил почтительно, но по-приятельски, посоветовав чиновнику ознакомиться с передреевской статьёй. «*Он перезвонит*», – сказал Передрееву Исаев после того, как положил трубку.

И действительно. Получаса не прошло, рассказывал мне Толя, как Свиридов позвонил и попросил Егора немедленно направить Передреева к нему.

Так что Егор Исаев имел, разумеется, мощную поддержку в среде партийной номенклатуры. Но хотелось помощнее. Хотелось, чтобы трепетали от одних только называемых им имён людей, с которыми он якобы запросто общается. И он блефовал. Как и в истории со своим участием в войне.

Забавна его судьба в постперестроечное время. Его огромная дача в Переделкине помогла ему обзавестись натуральным хозяйством. Он занялся разведением кур.

В здравом смысле ему не откажешь: понял, что литературой больше не прокормишься. Совсем было смирился с новым своим положением. Но забрезжила надежда на возвращение назад – и замелькал с подборками небольших стихотворений, разумеется, невероятно злободневных – на вечную ещё со сталинских времён тему.

Оцените:

*Опять, опять сомноженные силы
Всем Западом придвинулись к России
Грозятся с боевого рубежа.
Опомнись, ум, осторожись, душа!*

«Сомноженные» и «осторожись» – это фирменные словечки поэта ещё той удостоенной ленинской премии поэмы «*Даль памяти*», в сюжет которой так никто и не смог проникнуть, чтобы понять, о чём она написана. Незадолго до смерти тоже написал какую-то поэму, за что немедленно получил ростовскую премию имени Шолохова. Благодарил губернатора. Умильно улыбался.

Но я-то помнил его – самоупоённого, возвышающегося на сцене перед делегатами съезда писателей. «*Секцию поэзии, – объявлял им Егор, – поручено вести мне – избранному вашей волей секретарю Союза*».

Делегаты мрачно молчали. Они знали, кому обязан Исаев секретарством. Знали, что те, кому он обязан, с их волей не посчитались бы. А если б посчитались, не оказался бы этот графоман в руководителях.

9 июля

Борис Андреевич Губер, родившийся 9 июля 1903 года, сейчас мало кому известен. А напрасно. Он был одарённым писателем. Его книга «Шарашкина контора» (1924) – словно воскрешает чеховских героев. Во всяком случае, героиня Губера Зинка, уволенная по сокращению штатов и оказавшаяся в деревне, тоскует по оставленной Москве, где только и можно жить, и всё время мысленно туда стремится. А в деревне, изображённой Губером, царят мрак и запустение нравов. В ней жить нельзя.

Губера обвиняли в пессимизме, в искажении советской действительности. И это притом, что Губер сам же советскую власть и устанавливал. Воевал в Гражданскую на стороне красных.

Но последующие его книги так же натуралистичны и бесперспективны.

Вот начало его повести «Осколки» (1927)

«Фомин приехал в этот большой незнакомый город с твёрдой уверенностью, что именно здесь окончатся его мытарства. Чтобы раздобыть денег на дорогу, ему пришлось спустить всё, уцелевшее за долгие месяцы безработицы. Возврата к прежнему уже не могло быть. Но даже это не тревожило его: вместе с распроданным скарбом сгнули последние колебания, и он не сомневался в том, что жизнь начнётся заново, по-хорошему. Да и как могло бы случиться иначе, если Матвей Козырев, старый товарищ и друг, вместе с которым Фомин проработал первые годы революции, занимал в губернии важнейшее, ответственнейшее место? Словом, Фомин чувствовал себя прекрасно».

И вот конец этой вещи, где тот же Фомин, полностью разочаровавшийся в своих надеждах, озлобленный на всех и на всё, бьёт в пивной тяжёлой бутылкой по голове одного из собутельников:

«Фомин стоял, свесив вдоль бёдер руки, машинально сжимая пальцами остатки твёрдого стеклянного горлышка. Он смутно и отдалённо чувствовал, что случилось непоправимое, наступил конец всему – и это нисколько не пугало его. Люди напирали на него плотной живой стеной, толкаясь и вытягивая шеи, смотрели куда-то вниз, на пол. Он тоже хотел посмотреть туда, но не успел: перед ним стоял человек в чёрной шинели, занесённой снегом. У него было доброе, несколько испуганное лицо с молодыми розовыми прыщиками на лбу. – Что же это вы наделали, гражданин? – сказал он укоризненно. И Фомин, услышав его голос, очнулся, понял всё. Он понял, что пришли за ним, и покорно двинулся к дверям, на ходу поднимая воротник и застёгиваясь. Осколки стекла сухо хрустели у него под ногами».

Губер примыкал к литературной группе «Перевал», был дружен с организатором этой группы А. К. Воронским, впоследствии арестованным и уничтоженным чекистами.

Впрочем, пострадал не один Воронский. Уничтожен был и формальный глава «Перевала» Иван Зарубин. И такие его члены, как Артём Весёлый и Иван Катаев. Арестовали и расстреляли и Бориса Губера 13 августа 1937 года.

Разумник Васильевич Иванов-Разумник, скончавшийся 9 июля 1946 года (родился 24 декабря 1878-го), до революции был близок к эсерам, а после революции – к левым эсе-

рам, с которыми, как известно, большевики образовали коалиционное правительство. Но после убийства немецкого посла Мирбаха, в котором большевики обвинили своих союзников, коалиция распалась, и руководство левых эсеров было отправлено в ссылку.

Разумник Васильевич вместе с Андреем Белым и Сергеем Мстиславским (тоже, кстати, бывшим эсером) редактирует сборники «Скифы» в 1917—1918 годах, где печатает статьи о Есенине, Орешине и Клюеве, которых считает *«подлинно народными поэтами нашими»*, сближается с этими поэтами, дружит с ними.

Но его эсеровское прошлое ему не прощают. Несколько раз, начиная с 1919 года, арестовывают. В последний раз – в 1937-м. Продержали два года в тюрьме, но выпустили.

В октябре 1941 года немцы, оккупировавшие Пушкин (бывшее Царское Село), вывезли оттуда в Германию Иванова-Разумника вместе с женой и поместили их в лагерь для перемещённых лиц. Освободившись, жил сперва в оккупированной Литве, потом в Германии.

Умер в Мюнхене. Написал о своей жизни после революции книгу «Тюрьмы и ссылки».

10 июля

Мать поэтессы Веры Михайловны Инбер, родившейся 10 июля 1890 года, была двоюродной сестрой Льва Троцкого. Это в дальнейшем во многом определило судьбу поэтессы. Тем более что ещё в 1925 году в своём стихотворном сборнике «Цель и путь» она поместила стихотворение, посвящённое Троцкому «Ни колебаний. Ни уклона...». В нём писала:

*При свете ламп – зелёном свете
Обычно на исходе дня,
В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня*

Троцкий поспособствовал родственнице укрепиться в литературе, где ей жилось поначалу вольготно. С ней дружат литераторы. Прочитав её строчки: «*Ой ты гой еси царь-батюшка, / Сруби лихую голову!*», Маяковский отозвался озорной эпиграммой: «*Ах, у Инбер, ах, у Инбер что за глазки, что за лоб! / Так всю жизнь бы любовался, любовался на неё б!*» Её приглашают принять участие в коллективном романе, который напечатан с подачи кольцовского журнала «Огонёк» под заглавием «Большие пожары». Роман заканчивался оповещением: «*Продолжение событий – читайте в газетах, ищите в жизни! Не отрывайтесь от неё! Не спите!* „*Большие пожары*“ *позади, великие пожары – впереди*». Для Инбер великим пожаром оказалось смещение её двоюродного дяди со всех постов и высылка его за границу.

Нужно было очень сильно постараться, чтобы Сталин простил ей факт такого родства. И Вера Инбер очень старалась, что и зафиксировал в своём известном «Лексиконе русской литературы XX века немецкий славист Вольфганг Казак:

«Инбер начинала как одарённая поэтесса, но растеряла свой талант в попытках приспособиться к системе. Её безыскусно рифмованные стихи порождены рассудком, а не сердцем; её стихи о Пушкине, Ленине и Сталине носят повествовательный характер. Отличительными особенностями поэмы Инбер, посвящённых актуальным темам советской действительности, являются однообразие, растянутость; они далеко не оригинальны».

Да, ранние её стихи с последующими сравнения не выдержат. Исчезла страсть, желание высказаться о том, что тебя действительно волнует. Стихи её и проза стали похожи на старательно выполненные ученические задания.

Сталин это оценил. В первое большое награждение писателей в 1939 году Инбер была отмечена. Все знали, что награждение шло по трём категориям: высшей (орден Ленина), средней (орден Трудового Красного Знамени) и низшей («Знак Почёта»). Инбер отнесли к низшей: она получила орден «Знак Почёта». Но вряд ли была разочарована. Она приняла участие в создании знаменитой книги, которую заказал писателем НКВД, по чьей командировке они ездили на строительство заключёнными Беломорско-Балтийского канала и описали строителей так, как этого желали чекисты. Разными орденами были награждены все участники.

За поэму «Пулковский меридиан», написанную во время ленинградской блокады, и за блокадный дневник «Почти три года» Вера Инбер получает сталинскую премию. Но не расслабляется. Что, конечно, оценивает Сталин, следящий за родственницей своего врага.

В 1943 году её принимают в партию. И в дальнейшем почти постоянно избирают членом парткома писателей.

Кампания борьбы с космополитами её обошла. Зато она не обошла эту кампанию. Выступала на партийных собраниях, громя безродных гадин.

В 1946 году Анне Ахматовой для гарантии выхода её книги предложили обратиться к Вере Инбер, чтобы та написала вступительную статью. Ахматова решительно отказывается.

Сталин умирает, но маска, некогда надетая Инбер, оказывается сросшейся с её лицом. Инбер принимает участие в травле Пастернака, Лидии Чуковской и других прогрессивных писателей. Получает в награду два ордена Трудового Красного Знамени.

Ни проза её, ни её стихи последних лет не отмечены дарованием. Правда, она писала ещё детские стихи и очень хорошие. Они останутся в литературе. Умерла 11 ноября 1972 года.

Очень давно, как говорится, жизнь тому назад, – в самом начале шестидесятых я, тогдашний двадцати-с-небольшим-летний критик опубликовал статью о поэзии своих ровесников. Недавно она попала мне на глаза: сохранилась в домашнем архиве.

Я не к тому сейчас, что написана она плохо. Не для самоуничтожения сообщаю о ней. А к тому, что, проглядывая её, я воскрешал в памяти забытые имена, с горечью повторяя за Пушкиным: *«О много, много рок отъял!»*

Среди тех иных, кого «уж нет», – Володя Луговой, красавец и жуир, любимец женщин и любивший их, умевший очень эффектно подавать себя во многих разных компаниях, где чаще всего становился их душой.

Он, когда мы жили в уютных домиках в Красной Пахре, приглашённые московским комсомолом на семинар творческой молодёжи, приводил к нам Беллу Ахмадулину, тогдашнюю жену Юрия Нагибина, которая с охотой выслушала стихи и небольшие рассказы обитателей нашего домика и сказала, обращаясь к Луговому: *«Не обижайся, дорогой, но настоящее будущее за этим мальчиком»* – и приобняла Гришу Горина.

Володя не обижался. Он от души радовался за Гришу.

Приходил он ко мне и в «Литературную газету». Не со стихами. И не с просьбой о рецензии на себя. Он хлопотал за знакомую поэтессу, которая приехала в Москву из провинции, смогла найти для себя уголок в каком-то общежитии, но работу найти не смогла. Так не смогу ли я помочь ей в поисках какого-нибудь заработка? Год потом работала эта поэтесса внештатно при нашем отделе писем – рецензировала стихи графоманов. Работа была трудной: отказывать в печати им нужно было деликатно, не обижая. Но их обижал сам факт непубликации, и никакие сожаления рецензента по этому поводу они не принимали.

Потом эта поэтесса исчезла. А прежде неё надолго исчез Володя Луговой и вынырнул из небытия во время перестройки как сторонник возникшего тогда христианско-демократического движения.

К этому времени я никаких его стихов нигде не встречал, хотя до этого оценил его как детского поэта.

О том, что Владимир Моисеевич Луговой умер 10 июля 2006 года (родился 21 июля 1940-го), я узнал только через несколько лет. Вот как мы отделились друг от друга! Тогда же я узнал, что его тексты исполняла популярная группа «Весёлые ребята». Ничего удивительного, что я об этом не знал: я не слежу за музыкальными группами.

Я сказал, что оценил Лугового как детского поэта. В моей памяти он остаётся им: игровым, весёлым, неожиданным. Как в этом стихотворении:

*Дятел синице
в лесу говорит:
«Глянь на рябину!
Рябина горит!»
Громко синица*

*заспорила с ним:
«Если горит —
Покажи-ка мне дым!
Разве бывает
без дыма пожар?»
Дятел в ответ
лишь плечами пожал —
что тут сказать?
Но уже от рябины
вспыхнул орешник,
и следом – осины,
дуб занялся,
почернела трава...
За две недели
сгорела
листва!
Нынче про дятла
в лесу говорят:
«Красноголовый
во всем виноват:
словно
от тлеющего
фитилька,
вспыхнул пожар
от его хохолка!»*

«Избегай многословия. Отдавай себе ясный отчёт в том, зачем ты вступил в разговор. Говори просто, чётко и понятно. Избегай однообразия речи. Владей основными правилами культуры языка. Умей находить общий язык. Умей не только говорить, но и слушать. Следуй высоким образцам. Помни, что вежливость и благожелательность – основа культуры речевого поведения. Помни, что ты имеешь право нарушить любую заповедь, если это поможет лучше достичь поставленной цели общения».

Эти десять заповедей Татьяна Григорьевна Винокур, родившаяся 10 августа 1924 года, озвучила в интервью, данном ею корреспонденту, в начале 1990-х годов.

Но, кажется, следовала им всю свою творческую жизнь.

«Таня, дочь Григория Осиповича Винокура, великого русского учёного, одного из основоположников „московской лингвистической школы“, была увезена в эвакуацию осенью 1941-го. В знаменитом писательском Чистополе она страдала, рвалась в Москву и в итоге сбежала оттуда судомойкой на речном военном пароходе», – писала о ней её подруга и одноклассница, искусствовед Нея Зоркая.

Сбежав в Москву, она поступила на теоретическое отделение Московской консерватории, отучившись на нём два года (1942—1943). Наверное, это объясняет красивую модуляцию её голоса, о которой говорят многие (к примеру, академик Ю. С. Степанов), слушавшие её передачи «Беседы о русском языке» на «Радио России»

Она, известный лингвист, доктор филологических наук, сотрудница Института русского языка АН СССР, сама интересовалась и умела заинтересовать читателя проблемами стилистики художественной речи и разговорной речи, умела живо рассказывать в своих книгах об истории русского языка.

*«Книжка Ваша многому научила меня, – писал ей Корней Иванович Чуковский, – прочитав книгу Т. Винокур „Древнерусский язык“. – Я не знал, что капуста происходит от *capitum*, что верблюд от готтского *ulblandis*, что первичное значение ноги – копыто».*

Кстати, в том же письме К. И. Чуковский опровергает распространённую версию о Достоевском, обогатившем якобы русский язык словом «стушеваться»: *«Слово стушеваться не было новообразованием Достоевского. Оно существовало у чертежников – и было обычным в Инженерном училище, где он обучался. Д. [Достоевский] только расширил его применение».*

Татьяна Григорьевна трагически погибла под колёсами автомобиля 22 мая 1992 года.

Крупным поэтом Михаил Осипович Цетлин, родившийся 10 июля 1882 года, не был. Его стихи, которые он писал как под своей фамилией, так и под псевдонимом Амари, не вызвали особого интереса у критиков. Хотя, как замечала Н. Берберова, в его стихах можно найти сильные строфы.

Сам Цетлин был невероятно скромн. О своих стихах мнения был невысокого. Но в стихи современников влюблялся. Недаром, находясь в эмиграции, организовал в 1915 году в Москве издательство «Зёрна», где выпустил поэтические сборники М. Волошина и И. Эренбурга. В эмиграции он оказался как член партии эсеров, а главное – как член редакционной комиссии эсеровского издательства «Молодая Россия», заинтересовавшего полицию выпуском книг революционного содержания.

После Февральской революции Цетлин вернулся в Россию, после Октябрьской – бежал из России в 1919 году во Францию. Основал и был в 1923—1924 годах главным редактором парижского журнала «Окно». Там же в Париже 20 лет – с 1920 по 1940 – заведовал отделом поэзии в журнале «Современные записки». Жена Цетлина Мария Самойловна устраивала в своём доме литературно-музыкальные вечера, на которых бывали Бунин, Алданов, Волошин, Мережковский, Ходасевич, Цветаева, Эренбург, Дягилев, Стравинский.

В ноябре 1940-го Цетлин уехал из оккупированной Франции в Португалию, а оттуда в США. Вместе с Алдановым Цетлин основал нью-йоркский «Новый журнал».

Потомок крупного коммерсанта (Михаил Цетлин – внук основателя известной чайной фирмы «Чай Высоцкого») Цетлин и особенно его жена много тратили из доставшегося им наследства на нужды бедных литераторов.

В будущем А. С. (Андрей Седых) вспомнит и довоенные вечера и послевоенные в США. Вспомнит о роли их хозяйки – Марии Самойловны Цетлин:

«Периодически устраивались вечера – очень часто в пользу нуждающихся писателей. Постоянными посетителями были Бунины, Зайцевы, Алдановы. М. С. играла большую роль в жизни эмигрантских благотворительных организаций – принимала активное участие в Политическом Красном Кресте, Союзе русских писателей и журналистов... После смерти мужа, Михаила Осиповича, Мария Самойловна с еще большей энергией отдалась общественной и благотворительной работе... В Нью-Йорке, как и в Париже, она занималась журнальными делами, была членом правления Литературного фонда, субсидировала издание всевозможных сборников поэтов. Она потратила на благотворительность и на помощь друзьям большую

часть своего когда-то значительного состояния. Личные её потребности были очень невелики – у неё на всю жизнь сохранилась психология скромной бёрнской студентки».

Эта цитата взята из некролога «Памяти М. С. Цетлиной», напечатанного в газете «Новое русское слово» 26 октября 1976 года.

Да, жена значительно – на 31 год – пережила мужа. Михаил Осипович умер 10 ноября 1945 года, оставив замечательную библиотеку с уникальными изданиями, которую его вдова в 1960 году передала в дар Еврейской национальной и университетской библиотеке в Иерусалиме (с 2008 года библиотека носит название «Национальная библиотека Израиля»). А кроме того вдова привезла и подарила Израилю великолепную коллекцию живописи. В 1959 году старшая дочь Марии Александра и её муж Борис Прегель подарили Израилю скульптурную коллекцию. На основе всех этих даров создан Музей русского искусства имени Марии и Михаила Цетлиных.

В июне-июле 2003 года выставка «Коллекция Марии и Михаила Цетлиных» с большим успехом экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

11 июля

Анатолий Игнатьевич Приставкин, умерший 11 июля 2008 года (родился 17 октября 1931-го), стал известен сравнительно поздно. Я имею в виду читательскую известность. В литературных кругах его знали как добросовестного повествователя, писавшего документальные повести.

Даже опубликованный им роман «Городок» особого впечатления на литературную публику не произвёл.

Но его повесть «Ночевала тучка золотая», напечатанная в «Знамени» в 1987 году оглушила и поднятой в ней темой – сталинской депортацией чеченского народа, и тем, с какой неподдельной болью и с какой живой сопричастностью автора к героям она решена.

После неё Приставкин, что называется, проснулся знаменитым. Государственная премия, переводы на 30 языков, фильм по повести, который вышел на экраны в 1990-м.

В 1988 году опубликована новая повесть Приставкина «Кукушата». Теперь уже ясно, что она слабее «Тучки». Но тогда и её появление восприняли с большим энтузиазмом. Она была отмечена Общегерманской национальной премией по детской литературе.

С большим энтузиазмом писатели, поддержавшие горбачёвскую перестройку и создавшие независимое движение «Апрель», избрали Приставкина председателем совета.

С 1992 года Анатолий Приставкин возглавляет Комиссию по помилованию при Президенте РФ, куда вошло немало выдающихся общественных деятелей, деятелей культуры и науки. В то время не была ещё отменена смертная казнь. Комиссия за 10 лет своего существования заменила смертную казнь пожизненным заключением почти 13 тысячам человек. 57 тысячам заключённых был смягчён вынесенный приговор. Сейчас подобные вещи читаются, как сказка, правда?

Увы, в 2001 году новый президент принял решение распустить комиссию. И здесь Приставкин, как ни больно об этом писать, уронил свою репутацию. Как вспоминает бывший член Комиссии Александр Борин в книге «Пугай меня, Господи», Приставкин вместе со всеми возмущался решением Путина и обещал уговорить президента оставить так необходимую на правовом поле Комиссию. Но результатом беседы было назначение Приставкина советником Путина по вопросам помилования. Комиссию всё-таки распустили, а на посту советника воспрепятствовать судебному произволу Приставкин не смог.

Четырежды лауреат сталинской премии Пётр Андреевич Павленко, родившийся 11 июля 1889 года, был обласкан властями до такой степени, что ему позволили присутствовать на одном из ночных допросов Осипа Мандельштама. Спрятавшись, Павленко мог наблюдать допрос. Рассказавшая об этом Надежда Яковлевна Мандельштам воспроизвела картину, воссозданную Павленко для друзей. Мандельштам, рассказывал Павленко, был жалок. Брюки с него спадали, и он всё время за них хватался. На вопросы следователя отвечал невпопад, путался, порол чушь, вертелся, как карась на сковороде.

Сразу вспоминается строчка Есенина, которую ценил Мандельштам, *«не расстреливал несчастных по темницам»!* Пётр Павленко, вопреки традиции русской литературы, был душою с палачом, а не с жертвой.

И такую душу выражал в своих книгах и киносценариях.

Сейчас почти не вспоминают его роман «На Востоке» (1937) – о грядущей войне Советского Союза с Японией. А в своё время газета «Правда» не просто хвалила этот роман, но сетовала, что писатели почти не создают книг о будущей войне на Дальнем Востоке. Было создано

совещание оборонных писателей, где руководитель Союза писателей Ставский назвал роман Павленко «прекрасной книгой». *«Она берёт тему войны на границах нашего Союза и на территории врага, – сказал Ставский, – куда мы перенесём войну тотчас, как враг нападёт на нас, как об этом ярко, красочно записано в Полевом уставе РККА».*

То есть, никто и не скрывал, что роман Павленко является агиткой – листовкой, прославляющий сталинский строй.

В посмертно опубликованной в 1994 году полумемуарной повести «Дафнис и Хлоя» Юрий Нагибин утверждает, что Павленко связал себя с органами безопасности с первых литературных шагов. Очень похоже на правду. Во всяком случае, органы безопасности благоволили к Павленко на протяжении всей его жизни до самой смерти 16 июня 1951 года.

Александр Хаимович Горфункель, родившийся 11 июля 1928 года, один из выдающихся архивистов нашего времени. Его изыскания в архивах положены в основу его книг «Джордано Бруно», «Томмазо Кампанелла», «Гуманизм и натурфилософия Итальянского возрождения», «Философия эпохи Возрождения», что дало им дополнительную научную основательность. Переводил с латинского и итальянского произведения философов Средневековья и эпохи Возрождения. Составил несколько печатных каталогов редких книг в научной библиотеке Ленинградского университета. В соавторстве с Н. И. Николаевым выпустил книгу «Неотчуждаемая ценность. Рассказы о книжной редкости университетской библиотеки».

Перед тем, как уехать в США был заведующим сектором редких книг и книговедения Государственной публичной библиотеки, переименованной в 1992 году в Российскую национальную библиотеку.

В США, куда он вместе с женой выехал в 1993 году, ему предоставили работу в Центре российской истории при Гарвардском университете. Там он стал заниматься изучением жизни и творчества русского философа XVII века Яна (Андрея) Белобоцкого.

Жаль, что Россию покинул учёный таких энциклопедических знаний.

12 июля

30 сентября 1930 года Корней Иванович Чуковский посетил в Алуште Сергеева-Ценского и в обширной своей записи об этом визите в «Дневнике», в частности, заметил: «*Бранит Бабеля. „Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть не в Толстые, один Воронский написал о нём десятки статей, а он написал 8 листов за всю жизнь!“*»

«*Я протестовал...*» – комментирует слова Сергеева-Ценского Чуковский.

Надо сказать, что С. Н. Сергеев-Ценский был не так уж не прав. К тридцатому году Бабель напечатал небольшую книжку «Рассказы» в издательстве «Огонёк» (1925), сборник «Конармия» (1926), «Еврейские рассказы» (1927) и пьесу «Закат» (1927). В 1927-м принял участие в создании коллективной книги «Большие пожары», печатавшейся в кольцовском «Огоньке». Всё!

Правда, ещё в 1918-м напечатал цикл статей «Дневник» о своей работе в ЧК и в Наркомпросе. Но кто тогда его знал?

И всё же по большому счёту Сергеев-Ценский, конечно, был не прав. «Написал 8 листов»? Но каких!

Известность к Исааку Эммануиловичу Бабелю, родившемуся 12 июля 1894 года, пришла, когда он в 1921 году в популярной тогда одесской газете «Моряк» напечатал свой знаменитый в будущем рассказ «Король» – о еврейском бандите Бене Крике. И дальше – по 1924 год включительно публикует рассказы, составившие потом две книги – «Конармию» и «Одесские рассказы».

Причём «Конармию» Сергеев-Ценский, наверное, прочитал. Как и полемику вокруг неё. Всё-таки затеял её не кто-нибудь, а сам Будённый. Тот в ярости назвал Бабеля «*дегенератом от литературы*» в статье, напечатанной в 1924 году в журнале «Октябрь», – «Бабизм Бабеля из „Красной Нови“». (Думаю, что пародическим обыгрыванием такого заглавия явился анекдот, который я слышал в юности: «Когда Будённого спросили, нравится ли ему Бабель, он ответил, лихо подкручивая усы: „Смотря, какая Бабель!“».)

Четыре года длилась полемика, которая, наверное, и раздражала Сергеева-Ценского. В конце концов, Бабеля защитил Горький, который покровительствовал писателю и опекал его.

Между прочим, наверняка в связи с этой полемикой зародилось такое отношение властей к писателю, которое в будущем привело его к гибели. Известна фраза Ворошилова, сказавшего Мануильскому, что стиль «Конармии» «*неприемлем*». И ещё более зловещее: отзыв Сталина, который прочитал «Конармию» и нашёл, что Бабель «*писал о вещах, которые не понимал*». Несомненно правы те исследователи, которые увидели в этом, что Сталин был раздражён самым желанием Бабеля задокументировать поход будённой конницы на Львов. Львов Будённый не взял – не смог выполнить желание Сталина, бывшего тогда комиссаром на юге. В то время Сталин показал себя плохим стратегом. Отвлекаясь на Львов, он сорвал наступление Конармии на Варшаву. В результате польская кампания была проиграна.

Известно, что в 1925 году Сталин запросил для себя из архивов все материалы, связанные с этим походом Будённого, и не вернул их. Можно не сомневаться, что упоминание об этом походе у Бабеля, Сталина не обрадовало. Он затаился, а смерть Горького, покровителя Бабеля, развязала ему руки.

Тем более что Бабель не остановился на рассказах об одесских уголовниках и о конниках Будённого. В 1931 году он отправился в Украину собирать материалы для романа о коллективизации. Первую главу его, названную «Гапа Гужва», он опубликовал в 10 номере «Нового мира» за 1931 год. Но уже следующая глава «Кольвушка» опубликованной быть не смогла (напечатана в годы перестройки). По многим свидетельствам, Бабель ужаснулся увиденному, сказал Багрицкому, что эти страшные картины научили его спокойнее смотреть на расстрелы

людей. Другому своему приятелю он сказал, что происходящее в деревне намного страшнее того, что он видел в гражданскую войну.

Надо сказать, что при жизни Горького Бабеля пусть и неохотно, но выпускают за границу. С сентября 1927 и по октябрь 1928 года и с сентября 1932 по август 1933-го он живёт во Франции, где жила гражданская жена Бабеля Наталья Каширина, которая в 1929-м родила ему дочь, живёт в Бельгии, в Италии. Похоже, что власти не возражали бы, если б он стал невозвращенцем. Но Исаак Эммануилович возвращался на родину. Последний раз с антифашистского конгресса писателей в 1935 году.

Уничтожили Бабеля тогда же, когда и Мейерхольда. И, как и режиссёра, пытали. Вынудили под страшными пытками признать, что он намеренно искажал действительность, вёл среди деятелей культуры антисоветские разговоры и шпионил в пользу Франции.

О том, что её мужа расстреляли 27 января 1940 года, вдова Бабеля узнала только через много лет. Перед ней долго разыгрывали комедию, подсылали ложных свидетелей, встречавших якобы Бабеля в тюрьмах и лагерях военной и даже послевоенной поры. Зачем это делали? Из садистского сладострастия.

Бориса Николаевича Полевого, скончавшегося 12 июля 1981 года (родился 17 марта 1908 года), я очень хорошо помню. Встречал много раз и в «Литературной газете», и на пленумах и съездах Союза писателей, где Полевой был секретарём.

Занимал он бесчисленные общественные посты: Председатель правления Советского фонда мира и по этой должности – член бюро Всемирного совета мира, вице-президент Европейского общества культуры, депутат Верховного совета РСФСР. И самая памятная – главный редактор журнала «Юность», который не стал изменять политику своего предшественника Валентина Петровича Катаева, но привёл в журнал и своих авторов, менее интересных, чем катаевские.

Помню и героя его «Повести о настоящем человеке» лётчика Алексея Петровича Маресьева, у которого из-за тяжёлого ранения на фронте были ампутированы обе ноги, но который сумел вернуться в строй и летал с протезами.

Он был у нас в «Литературной газете», и очень всем понравился. Держался скромно, даже застенчиво.

Полевой узнал о его подвиге, работая военным корреспондентом «Правды». Написал о нём. А потом, слегка изменив его фамилию на Мересьев, сделал героем своей повести, разумеется, отмеченной сталинской премией и введённой в школьную программу. Я по ней писал сочинение.

Увы, писателем Полевой так и не стал. Говорят, что он был неплохим журналистом. Но я читал только его статьи в «Правде». Меня они не трогали.

Когда я был главным редактором «Литературы», мне в газете пришлось отбиваться от чиновников Министерства образования, замысливших вернуть повесть Полевого в школьную программу. Логика чиновников: чему учит такая книга? – патриотизму! А я доказывал им, что сильно расширенный беллетризованный очерк, выдаваемый за художественную литературу, патриота не воспитает, а сбить школьника с панталыку «Повесть о настоящем человеке» может несомненно. Ведь научить детей отличать литературу от подделки под неё – первостепенная задача педагога-словесника.

Полевой, когда брался за повесть, разумеется, хотел своему герою хорошего. И Алексей Маресьев наверняка испытывал к нему благодарность. Возможно, что он просто постеснялся указать автору на кричащее неправдоподобие и в описании воздушного боя, и в воссоздании такой ситуации, когда любой профессионал прыгнет с парашютом, а не воткнётся самолётом

в лес. Быть может, постеснялся Маресьев, у кого, как и у Мересьева в повести, оказались раздробленными все косточки стопы, объяснить Полевому абсурдность вымышленной им в этом случае героики. Человек в таком положении просто физически не сможет снять, а потом снова натянуть на ноги унты и тем более не сможет ходить на раздробленных ногах!

Я делюсь сейчас чужими наблюдениями над «Повестью о настоящем человеке» – писателя Михаила Веллера. И не надо меня ловить на том, что, читая в школе повесть, я ничего подобного не замечал. Что, скажите, хорошего, если ребёнку врезаются в память подробности, не имеющие никакого отношения к действительности? А порой и комически неправдоподобные.

Помню, смотрел я в детстве фильм, куда перекочевал из книги эпизод встречи покалеченного Мересьева, которого играл Павел Кадочников, с медведем. Затаив дыхание, следил я за тем, как подошёл к человеку зверь, как цапнул его когтями, как, преодолевая боль, успел выхватить Мересьев пистолет. А через много лет прочитал подробный комментарий этой сцены:

«Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя... Если на лес грохнется самолёт поблизости, то медведь тут же обделается и удерёт от этого необъяснимого ужаса и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел – пришёл. Когтем цапнул – комбинезон не подался. Да он цапнет – жёсть раздерёт, голову оторвёт! „комбинезон не подался“! Понюхал! – решил: мёртвый. Это, может, Полевой решил бы, что мёртвый, а медведь – он как-нибудь разберёт, кто мёртвый, а кто живой. И свернёт шею. Голодный – закусит сразу, сытый прикопает, чтоб запашок пошёл, но сытый шатун – это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лёжа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лёжа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ – какого ж ещё? – калибра 7,62 – уложил медведя. Странно ещё, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя – пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину – из этой пукалки? в сердце – фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнёт, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибёшь. Короче, охотник на привале» (Михаил Веллер. «Кавалерийский марш»).

Ну? И для чего эту осмеянную вещь возвращать в школу? Вспомните, как в похожей ситуации действует пушкинский Дубровский, выдающий себя за француза Дефоржа. Его, ради барской потехи, впихнули в клетку с медведем: *«Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился»*. А ведь речь идёт об оставшейся неотредактированной Пушкиным вещи, где сам автор не решил окончательно, кем ему представить Дубровского – пехотным гвардейским офицером или гвардии корнетом конного полка. Но в реалистических и психологических деталях Пушкин точен и здесь. Как везде.

Но с Полевого, как говорится, взятки гладки. Писателем, как я уже сказал, он не был.

С Вадиком или, как ещё его звали друзья, Димой Сикорским меня познакомил Евгений Винокуров. Женя часто приходил в его сопровождении. *«Мой адъютант»*, – смеялся он, показывая на высоченного широкоплечего Сикорского. *«Скорее, твой охранник»*, – вторил я такому юмору.

Вадим Витальевич Сикорский, скончавшийся 12 июля 2012 года (родился 19 мая 1922-го), занимался литературой профессионально. Он был сокурсником по Литературному институту Винокурова, Ваншенкина.

Будучи студентом, прочитал на семинаре написанное им стихотворение «Бабы». И немедленно был исключён с формулировкой «за искажённое изображение жизни в колхозе и судьбы колхозницы». Но вскоре на счастье Сикорского пришёл новый ректор – Фёдор Гладков, которому понравились стихи Вадика, и он восстановил его в институте.

Отличался неплохим литературным вкусом, много знал наизусть хорошей поэзии. Говорил мне: «Ты – критик. Твоё дело – пить нектар из стихов и сообщать мне, каков он на вкус!» Писал стихи и прозу, переводил многих поэтов на русский.

Был в его биографии примечательный факт. В 1941-м он находился в эвакуации в Чистополе, дружил с Муром, сыном Марины Цветаевой. Сикорскому пришлось вынимать Цветаеву из петли. Рассказывая об этом, он всё время сдерживал слёзы.

А в стихах подражал своему другу Винокурову. Хотя есть у него и самобытные стихи:

*Я не был на свете вечность. И не буду на свете вечность.
Уйду под покровом ночи или в сиянии дня.
Солнце, звёзды, луна – великолепные вещи,
но они легко обходились, обойдутся легко без меня
А быть может, в безжизненной скуке
пламени, камня, металла,
в столетья, когда пространства особенно тихи,
вселенная обо мне, о живом и весёлом, мечтала
и слагала меня, быть может, как я вот эти стихи.*

В школьной моей юности мне попала книга литературных пародий. Называлась «Парнас дыбом». И действительно произвела на меня впечатление сообразно своему названию: авторы, заставили каждого поэта и каждого прозаика – классиков и современников – рассказывая истории на известные сюжеты, говорить своим собственным, очень узнаваемым голосом. Это было настоящее искусство перевоплощения, которым отменно владели все три автора: Э. С. Паперная, А. Г. Розенберг и А. М. Финкель.

Ничего я о них больше не знал. Позже – через много лет была переиздана в России эта уникальная книга.

Среди вариаций на песню «Жил был у бабушки серенький козлик» мне нравилась пародия Э. С. Паперной на некоего неизвестного мне Семёна Юшкевича:

«Старая Ита была очень бедная женщина, и козлик у ней был, ой так это же мармелад, антик марэ, что-то особенное, а не козлик! Ой, как Ита его любила! Как своё дитё она его любила. Но, как говорится, козла сколько ни люби, а он всё в лес смотрит. Ну, так он убежал. В лес убежал. Гулять ему захотелось. А в лесу, думаете, что? Волки, уй, какие волки! Серые, страшные, с зубами. Разве они имеют жалость к еврейскому козлёнку? Ну, так они его таки да съели. Только рожки да ножки остались. Ой, как Ита плакала! Как малое дитё она плакала».

Разумеется, мне захотелось прочитать этого Юшкевича. И я таки его прочитал.

Это была повесть «Евреи», посвящённая Горькому. Сюжет её я подзабыл. Но интонацию повествования отлично помню. Паперная воспроизвела её мастерски.

И ещё что я уловил у Юшкевича: его герои – именно русские евреи. Ни в какой стране они жить не смогли бы.

Семён Соломонович Юшкевич умер 12 июля 1920 года в эмиграции, в Париже (родился 7 декабря 1868-го).

Все, писавшие о судьбе эмигрантов из России, подчёркивают, что Юшкевичу в Париже было несладко. Еврейская тема не слишком волновала французов. И тем более их не интересовали изображённые Юшкевичем типы евреев-одесситов.

Юшкевич бросил еврейскую тему. Пробовал писать о вненациональных героях. Но потерял узнаваемый свой стиль. Перестал быть оригинальным.

Некогда Чехов писал о нём Вересаеву: *«По-моему, Юшкевич умён и талантлив, из него может выйти большой толк»*. Эти слова оказались справедливыми для писателя, пока он жил в России. Уехав из неё, он оторвался от своих корней, – не смог воспроизводить иных персонажей, нежели евреи, укоренившиеся в русской земле.

13 июля

Когда я стал профессионально заниматься Пушкиным, я начал избавляться от обаяния, которые вызывали во мне работы некоторых пушкинистов. Например, Михаила Гершензона. Его книгу «Мудрость Пушкина» я прочёл ещё студентом, и многие выводы учёного принял на веру.

Потом уже я понял, что стало отталкивать меня от пушкиниста Гершензона. Он невероятно субъективен. Не даёт себе труда вчитаться в пушкинский текст. Он не проникает в него, а читает, подчиняя текст своей концепции. Иными словами, он не литературовед, а философ, для которого литература – такой же жизненный материал, как и всё остальное в его сущем. Опираясь на него, он учит жить.

Подобный подход к литературе после Гершензона оказался свойственен многим пушкинистам. Но Гершензон, кажется, и сам понимал, что его призвание не литературоведение, а философия. Где-то я прочитал о нём: историк духовной жизни России, и такая его характеристика мне представляется верной.

Михаил Осипович Гершензон родился 13 июля 1869 года. Сумел поступить на историко-филологический факультет Московского университета и получить золотую медаль за сочинение «Афинская политика Аристотеля и жизнеописание Плутарха». В дальнейшем оказался выдающимся архивистом, исследователем семейных архивов многих дворянских родов. Так на основании собранных им материалов он написал «Жизнь В. С. Печерина» (1910), воскресив почти из небытия колоритную фигуру этого философа, одного из ранних русских эмигрантов. Так он публиковал открытые им архивные материалы в сборниках «Русские Пропилеи» (1916—1919) и в томе «Новых Пропилеев» (1923).

В 1909 году он выступил инициатором издания философского сборника «Вехи», который Ленин назвал энциклопедией либерального ренегатства. Такая характеристика либералов, допущение, что либерализм скрывает в себе возможность ренегатства, убеждённости, что либерал может пойти в коллаборанты, особенно характеризует конформистов любого времени и нашего, разумеется, тоже.

Между тем, авторы «Вех» выступали против господства мировоззрения, построенного на коллективизме, на поклонении народной коллективной мудрости, на нигилизме и безрелигиозности.

К чему привело мировоззрение, которое отвергали «веховцы», мы убедились на примере его победы в государстве, возникшем после Октября 1917-го.

Гершензон был весьма разносторонним литератором. Его исторические штудии не устарели и поныне. Документы, которые он предал гласности, уникальны и бесценны для исследователей эпохи Николая I (так называется книга Гершензона) и других русских императоров. Его философия выражена им в книге «Творческое самосознание» (1909) и в уникальной книге «Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон. Переписка из двух углов» (1920).

Не говорю уже о его работах, изданных в разное время, – об Огарёве (1900, 1904), «П. Я Чаадаев. Жизнь и мышление» (1907), «История молодой России» (1908), «Образы прошлого» (1912), «Грибоедовская Москва» (1914). Все они, как отмечал Плеханов, содержат много ценного для понимания умственного развития русской интеллигенции.

После революции он остался верен своим идеалам, не принимал безбожия и революционного нигилизма. Писал об этом в книгах «Ключ веры» (1922) и «Гольфстрем» (1922). Работал в Наркомпросе, в Главархиве, заведовал литературной секцией Государственной академии художественных наук.

Умер 19 февраля 1925 года.

*Душа моя, как птица,
Живёт в лесной глуши,
И больше не родится
На свет такой души
По лесу треск и скрежет:
У нашего села
Под ноги ели режет
Железный змей-пила.
Сожгут их в тяжких горнах,
Как грешных, сунут в ад,
А сколько бы просторных
Настроить можно хат!
Прости меня, сквозная
Лесная моя весь,
И сам-то я не знаю,
Как очутился здесь,
Гляжу в безумный пламень
И твой целую прах
За то, что греешь камень
За то, что гонишь страх!*

Это начало стихотворения Сергея Антоновича Клычкова, родившегося 13 июля 1889 года.

Да, душа этого поэта жила в природе. Его поэзии был в высшей степени присущ антропоморфизм. Поэтому Клычков сошёлся с близкими ему по духу крестьянскими поэтами и, в частности, с Сергеем Есениным.

Клычков обрабатывал фольклор, выпустил при жизни немало книг стихов. Написал три романа.

И словно предвидел свою судьбу в том стихотворении, начало которого я привёл. Оно продолжается и заканчивается так:

*И здесь мне часто снится
Один и тот же сон:
Густая ель-светлица,
В светлице хвойный звон,
Светлы в светлице сени,
И тёпел дух от смол,
Прилесный скат – ступени,
Крыльцо – приречный дол,
Разостлан мох дерюгой,
И слились ночь и день,
И сели в красный угол
За стол трапезный – пень...
Гадает ночь-цыганка,
На звёзды хмуря бровь:
Где ж скатерть-самобранка,
Удача и любовь?*

*Но и она не знает,
Что скрыто в строках звёзд!..
И лишь с холма кивает
Сухой рукой погост...*

Погост манит Клычкова не зря. Он разделил судьбу крестьянских поэтов. Был арестован и расстрелян 8 октября 1937 года. Прах его – в общей могиле уничтоженных чекистами – на Донском кладбище в Москве.

Валентин Савич Пикуль, родившийся 13 июля 1928 года, особенно памятен многим скандалом, какой разгорелся вокруг напечатанного в журнале «Наш современник» его романа «У последней черты», который изданный книгой носит длинное и по-своему вызывающее заглавие: «Нечистая сила. Политический роман о разложении самодержавия, о тёмных силах придворной камарильи и бюрократии, толпившейся возле престола; летопись той поры, которую зовут реакцией между двумя революциями; а также достоверная повесть о жизни и гибели „святого чёрта“ Гришки Распутина, возглавляющего сатанинскую пляску последних „помазанников Божиих“».

Пикуль показал себя в этом романе убеждённым монархистом, и по слухам за ним, по распоряжению главного идеолога партии М. А. Суслова, был установлен тайный надзор.

В романе проскальзывали отчётливые антисемитские нотки, о чём в семидесятые годы писать было нельзя. Поэтому критики романа сосредоточились на исторических погрешностях Пикуля.

А их, как и в любой другой его книге, было немало. По свидетельству людей, знавших его, Пикуль не работал в архивах. Он отталкивался от какой-нибудь исторической книги, и на её основе описывал придуманный им сюжет.

Но умело гримировал свои сочинения под подлинно исторические, что сделало их невероятно популярными. Знаю людей, которые по книгам Пикуля изучали историю.

Пикуль писал быстро. Написал больше двух десятков романов и больше сотни исторических новелл. Купить его книгу в магазинах в советское время было невозможно. Хотя они издавались огромными тиражами. Читатели устремлялись на чёрный рынок, платили за них цену, иногда вдесятеро превышающую номинальную.

Можно было бы сравнить его роль на тогдашнем книжном рынке с ролью Марининой или Донцовой на нынешнем, но такое сравнение полного представления о роли Пикуля не даст. Общий тираж его книг при жизни Пикуля (умер 16 июля 1990 года) достиг 20 миллионов экземпляров. А на 2008 год, по словам вдовы писателя, тираж книг мужа исчислялся уже полу-миллиардом экземпляров.

Не тот случай, о котором сказал Гоголь, что, если в России вышла книжка, то в этой огромной стране отыщется и читатель её. Здесь отыскалась тьма читателей!

За книжками Пикуля охотятся и сегодня – много позже его смерти. Почему? На мой взгляд, из-за удручающей бедности исторического образования российских граждан.

Об этом поэте «Литературная Россия» написала: «Очень хотел сделать свой перевод „Песни о полку Игореве“». Но Юрий Георгиевич Разумовский, родившийся 13 июля 1919 года, успел завершить работу над «Словом» как раз в год своей смерти в 2000-м.

Он был фронтовиком. Кроме стихов, писал ещё и детские книги.

Мы познакомились с ним в 1983-м в туристской поездке, где он показал себя доброжелательным мягким человеком.

Рассказывал, что, занимался спортом и даже был профессиональным волейболистом. Потом я узнал, что он входил в тренерский состав по подготовке сборной СССР по волейболу.

А стихи его были честными. Он не любил фальши:

Наш старшина – Кравцов Алёшка —
Лежит ничком, и кровь кругом:
Нога оторвана, а ложка
Ещё торчит за сапогом...
А началось всё как-то просто:
Мы шли – мальчишки – по войне,
И леса обожжённый остров
Шёл рядом с нами – в стороне.
Гудели самолёты глухо,
И мнилось, это всё – игра,
Но бомбы сыпались из брюха,
Как рыба чёрная икра.
Они свистели бесновато
Над каждым скрюченным бойцом,
И, чуя смертную расплату,
Я распластался вниз лицом.
И мне казалось – я и не был,
Не мыслил, не жил, не страдал.
И я, под этим гулким небом,
Иною землю увидал.
И мне враси хотелось в травы,
Зарыться глубже, с головой:
Уйти от огненной расправы
И юность унести с собой.
Как пред грозой природа стихла.
Вдруг твердь ушла из-под меня,
И пред лицом моим возникло
Лицо огня...
Я эту первую бомбёжку
Не позабуду и вовек,
И этот лес, и эту ложку,
И слёзы капавшие с век.

Умер Юрий Григорьевич в декабре 2000 года.

14 июля

Название стихотворения Олега Чухонцева «Похвала Державину, рождённому столь хилым, что должно было содержать его в опаре, дабы получил он сколько-нибудь живности», соответствует факту биографии Гавриила Романовича Державина. Вот и Ходасевич записывает в своей книге «Державин» о будущем поэте: «*От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое: по тогдашнему обычаю тех мест запекали ребёнка в хлеб*».

Родился Гавриил Романович 14 июля 1743 года в семье обедневших дворян. Поэтому и не был записан в гвардейский полк уже сержантом, как пушкинский Пётр Гринёв. Державин служил в Преображенском полку рядовым, служил с 1762 года и принимал вместе с полком участие в дворцовом перевороте 28 июня 1762 года. Переворот возвёл на трон Екатерину.

В 1773—1775 годах уже офицером этого полка участвовал в подавлении восстания Пугачёва. Наблюдательный Державин без труда разглядел причину крестьянских волнений. О чём и написал в официальном донесении казанскому губернатору и начальнику Секретной следственной комиссии генералу Бранту: «*Сколько я смог приметить <...> лихоимство производит в жителях наиболее ропота, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольною и, если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая теперь свирепствует в нашем отечестве*».

В будущем он напишет стихотворение «Памятник», где поставит себе в заслугу умение «истину царям с улыбкой говорить». Истину Державин старался говорить всегда.

В 1780 году в переложении 81 Псалма «Властителям и судьям» он скажет:

*Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны
И так же смертны, как и я.*

Открыв это, он через два года пишет знаменитую свою оду «Фелица», где в нарушение одического канона представляет не парадный, а человеческий портрет государыни. Он говорит ей истину с улыбкой, и она улыбается ему в ответ: щедро вознаграждает автора, продвигает его по службе.

В мае 1784 года Державин назначен гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии. С 1786 по 1788-й служит Тамбовским губернатором. В 1791 по 1793 является статс-секретарём императрицы. В 1793-м Державин – сенатор и тайный советник. В 1795-м – президент Коммерц-коллегии. В 1802—1803 году его назначают министром юстиции.

И на всех постах Державин проявляет свой характер. Борется с мздоимством, не переносит лести, информирует Екатерину об истинном положении дел в местах, где он служит.

В конце концов он утомляет своей правдивостью власти, и распоряжением Павла он «уволен от всех дел» – 7 октября 1803 года отправлен в отставку.

Всё это время он занимается литературной деятельностью – расшатывает в своих стихах классицистические нормы, по существу расчищает дорогу предромантизму.

«*Тьфу, романтические бредни: / Фламандской школы пёстрый сор*», – обозвал автор «Евгения Онегина» собственное начало повествования: «*Порой дождливою намедни / Я, завернув на скотный двор...*»

Но «пёстрый сор» фламандской школы появился в русской поэзии ещё до «Онегина». Его занёс туда Державин. Его стихи плотские, сочащиеся грубой земной жизнью, не чуждаю-

щиеся просторечий, радуют слух, радуют глаз. И в то же время радуют душу. Ибо Державин умел одухотворить картины вроде бы даже приземлённой жизни. Его шутки грубоваты и одновременно пронзительно лиричны:

*Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.*

Скончался Гаврила Романович 20 июля 1816 года.

С Юрием Дмитриевичем Черниченко, прекрасным писателем, публицистом и гражданином, мы прощались спустя два дня после его смерти, случившейся 14 июля 2010 года. Все выступавшие на панихиде так или иначе вспоминали его бойцовский характер, горячий темперамент и готовность отстаивать правду, чего бы это ему ни стоило.

Сам Юра, родившийся 7 августа 1929 года, в книге «Время ужина» назвал себя «писателем-летописцем при аграрном цехе». И в этом шуточном определении много правды, о чём говорят сами названия его книг: «Ржаной хлеб», «Земля в колосьях», «Яровой клин», «Русский чернозём», «Про картошку».

Главное, что было в его «летописи» аграрного цеха – это раннее понимание того, что выстроен цех неправильно и оттого так немощна его продукция.

Он утверждал это задолго до начала перестройки. Не удивительно, что иные его статьи и очерки были предметом обсуждений и осуждений на высшем партийном уровне.

Почти каждое его выступление в нашей «Литературной газете» обрастало шлейфом, которое оно тянуло за собой: возмущённые отклики начальства и восторженные – от читателей, подтверждающих правоту Черниченко, изумлённых смелостью автора и редакции.

Он любил подчёркивать, что является автором 36 статьи российской конституции, которая закрепляет право гражданина иметь землю в частной собственности. Но то, как воспользовались граждане России этим правом, его ужасало. Возмущало, что «государевы слуги» – бывшие секретари райкомов и председатели колхозов за бесценок скупали у колхозников их сертификаты на владение землёй, становясь крупными латифундистами. Возмущала жадность бывших сельских номенклатурщиков, формально ставших владельцами огромных угодий, а фактически – спекулянтами, зарабатывающими на перепродаже плодородной земли под возведение частных усадеб.

Он оглушал цифрами, говорил в одном интервью, что «в России около 30 миллионов гектаров земли не пашется, зарастает лесом и бурьяном, какого я в жизни не видал». Он бередил равнодушных, ссылаясь на извечный закон человеческого существования, о котором знали древние, о котором писал ещё Гомер: «Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим к делу его, за работу он сам не возьмётся охотой. Тягостный рабства удел избрав

человеку, лучшую доблестей в нём половину Зевес истребляет». «Раб нерадив!» – восклицал Юра. И призывал освободить от рабства бывшего советского крестьянина – колхозного раба, как называл его Черниченко. Понимал, что сделать это очень непросто: рабство въелось в психологию, – отчуждаясь советской властью от земли, колхозник не был заинтересован в плодах своей работы на ней. Понимал Черниченко и то, что в освобождении крестьянина от рабской психологии бывшая номенклатура, становясь ею нынешней, не заинтересована. И в этом смысле называл государство *«кликухой местной бюрократии»*. Но Черниченко был природным борцом за справедливость. А таких людей в своей борьбе согревает надежда на то, что справедливость обязательно победит.

Как не хватает нам сейчас таких людей!

Знаменитый фольклорист, собиратель и исследователь былин Александр Фёдорович Гильфердинг родился 14 июля 1831 года.

Служил российским консулом в Боснии, где написал книгу «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (1859) – об истории этих стран. Из Боснии в конце 60-х ездил в Македонию. Издал брошюру на французском языке «Les slaves occidentaux».

В 1867 году возглавил петербургское отделение Славянского благотворительного общества. Возглавлял и этнографическое отделение Императорского Русского географического общества.

После появления «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» Гильфердинг предпринял в августе 1871 года поездку по Олонецкой губернии, где прослушал 70 сказителей, собрал 318 былин. Так что он существенно дополнил собрание Рыбникова.

Летом 1872 года снова поехал в Олонецкую губернию для записи и изучения устного народного творчества. Собрался ехать в Каргопольский уезд. Но в Каргополе слёг и в течение пяти дней сгорел от тифа. Был Гильфердингу 41 год.

За недолгую свою жизнь (умер 2 июля 1872 года) Александр Фёдорович написал множество работ об истории славян и о древнем их быте. По результатам поездки в Олонецкую губернию посмертно издана его книга «Олонецкие былины». Многих исследователей фольклора Александр Фёдорович Гильфердинг заразил своим собирательством.

Стихотворение, в подлинности которого сомневаться не приходится:

*Парижская сутолока, вечер,
Сердце металлический стук,
Я знал лишь случайные встречи,
Залог неизбежных разлук.
А счастье мне даже не снилось,
Да я и не верил ему,
И всё-таки как-то прожилось,
Но как, до сих пор не пойму.*

Слово «сутолока» ещё в моём детстве произносили не в четыре, а в три слога: «сутоллка». А уж уехавшие много лет назад из России эмигранты унесли это слово, произносимое именно в три слога.

Так его и произносит поэт Кирилл Померанцев, родившийся 14 июля 1906 года и покинувший вместе с семьёй Россию в 1919-м.

С 1927 года Кирилл Померанцев живёт во Франции, в Париже. Во время войны перебирается в Лион, участвует в Сопротивлении. И возвращается назад в Париж.

Увы, такова горькая участь эмигранта, что его почти не знают на родине. А жаль. Кирилл Померанцев был поэтом Божьей милости (умер 5 марта 1991 года):

*На исходе двадцатого века
В лабиринте космических трасс —
Чем наполнили мы картотеку
Барабанных, штампованных фраз?
Декларации, лозунги, речи...
Смена вех и дорог без конца...
Чем приблизили лик человеческий
К лучезарному лику Отца?
Лёгкой дымкой небесная слава
Поднималась над стойкой бистро,
И в Париже Булат Окуджава
Что-то пел о московском метро.
Вот она, эта малая малость,
Чем, воистину, жив человек,
Что ещё нам от Света осталось
В наш ракетно-реакторный век.
Постараемся ж не задохнуться,
Добрести, доползти, додышать,
Этой малости не помешать,
Предпоследнему дню улыбнуться.*

О Марке Аркадьевиче Тарловском, скончавшемся 15 июля 1952 года, мне было известно, что он автор русского текста военных стихов Джамбула Джабаева, в том числе и того стихотворения, которое мы учили в школе, – «Ленинградцы, дети мои». Потом я узнал, что акын Джамбул вообще не напевал этих текстов. К нему приставляли литературных секретарей, полагавшихся членам Союза писателей. А Джамбул был не только членом этого союза, но и лауреатом сталинской премии. Тарловский работал секретарём акына с 1941 по октябрь 1943 года. Так что укрепил репутацию казахского старца.

Правда, информацию о том, что Джамбул не писал своих стихов, пытались не раз опровергнуть. В частности, пытался это сделать и Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, бывший в 1954 году первым секретарём ЦК компартии Казахстана. Но, по правде сказать, лучше бы не пытался. Вот что он сказал, называя Джамбула Жамбылом, на состоявшемся в то время III съезде казахских писателей: «*После смерти Жамбыла, – прошло много лет, остались все его секретари, переводчики, но почему-то нет ярких стихов Жамбыла, дело видно в том, чтобы гранить как алмаз (что якобы делали его секретари, переводчики) надо иметь этот самый алмаз, чем и была поэзия Жамбыла*».

Странное опровержение, правда? Кому бы из тех, кто писал за Джамбула, могло прийти в голову продолжать писать за него стихи после смерти акына?

Ну, а что касается Тарловского, то он в юности примыкал к южно-русской (одесской) поэтической школе, написал стихотворные мемуары о Багрицком «Весёлый странник», выпустил три книги собственных стихов, переводил не только Джамбула и не так, как Джамбула, Беранже, Гюго, Гейне, других поэтов.

Об этом мне рассказывал Семён Израилевич Липкин. Он не то что ценил переводы Тарловского, но не отвергал их. Он, кстати, рассказывал и о том, как однажды в Коктебеле королём поэтов избрали Волошина, а принцем – Тарловского. И этим обидели Шенгели, который хотел быть принцем.

Но потом я нашёл тот же рассказ в «огоньковской» книжке Липкина. Цитирую оттуда:

«Не будучи избранным в принцы, Шенгели по-детски обиделся на Марка Тарловского. Мне рассказывали, что в своё время Тарловский пришёл к нему как ученик: „бей, но выучи“. Но получилась так, что, по крайней мере в литературной среде, пусть на мимолётный миг, вспыхнула слава Тарловского в то время как имя Шенгели угасло. Напомню, что Максим Горький, открывая своим предисловием „Библиотеку поэта“, цитирует в первом её томе стихотворение Тарловского, правда, без восторга, даже поругивая, но с несомненным интересом к содержанию...»

Оборву цитату. Липкин цитирует стихотворение Тарловского. Но мне оно не нравится.

Всё-таки, думаю, что стихи Тарловского, родившегося 2 августа 1902 года, в истории литературы не остались. Он остался в ней как автор стихотворения «Ленинградцы, дети мои», конечно, в той мере, в какой осталось в истории литературы это стихотворение. И тем ещё, что известный поэт Арга был его двоюродным братом.

15 июля

Однажды, идя по арбатскому переулку Сивцев Вражек, я увидел на его конструктивистском доме памятную доску с надписью: «Здесь появилась песня „Подмосковные вечера“. Автор М. Матусовский». И подумал: какая, однако, великая честь этой песне! Не совсем, правда, понятно, почему умолчали о композиторе В. Соловьёве-Седом, без которого песня не появилась бы! Возможно, что на доске вместо «появилась» надо было бы поставить «зародилась». Но даже такая поправка не прояснит смысла появления памятной доски. Ведь не хотели же сказать те, кто её устанавливал, что поэт-песенник только одну песню в этом доме и написал?

Если хотели, то это неправда! Михаил Львович Матусовский, скончавшийся 15 июля 1990 года (родился 23 июля 1915-го), написал великое множество стихов, которые стали песнями. За что, кстати, был даже отмечен Государственной премией. Среди этих песен есть немало ставших популярными. Навскидку: «Вернулся я на Родину», «Школьный вальс» «Вечер вальса», «Чёрное море моё», «Летите, голуби, летите», «Скворцы прилетели», «Старый клён», «Лодочка», «Это было недавно» «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Что так сердце растревожено». Ну, не верится, что Михаил Львович не написал слов какой-нибудь из названных здесь песни в этом доме! Или он не жил там? Зашел к кому-нибудь в гости и сочинил «Подмосковные»? Тогда эту информацию надо бы добавить! Скажем, написать: «в гостях».

У Антона Павловича Чехова, умершего 15 июля 1904 года (родился 29 января 1860-го), люблю почти всё. Обожаю его пьесы. В особенности, «Вишнёвый сад», на долю которого выпала нелепая участь: его поставил Художественный театр как трагедию. Умиравший Чехов, написавший комедию, воспрепятствовать этому не мог. С тех пор так и читают – как трагедию.

Эту традицию удалось поломать Сергею Шелехову, выпустившему в издательстве МГУ «Путеводитель по комедии А. П. Чехова „Вишнёвый сад“». К сожалению, эта серия путеводителей, где я – главный редактор редколлегии, не раскрыта издательством. Многие о книгах, вышедших в ней, просто не знают. И многие, особенно преподаватели литературы, благодарят меня за наводку.

В старости я особенно оценил запись героя Чехонте в его «Жалобной книге»: «Лопай, что дают!» и правила воспитанного человека, которыми Чехов поделился со своим братом Николаем:

«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилище посторонних...

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом...

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома,

не пускают пыли в глаза меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают... Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.

5) Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: меня не понимают!..

6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, восторг встречного в Salon'e, известность по портерным...

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой...

8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплётанному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт... Спать с бабой, дышать ей в рот <...> выносить её логику, не отходить от неё ни на шаг – и всё это из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот <...>, не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без усталости... Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не <...>, а матерью... Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только, когда свободны, при случае... Ибо им нужна *mens sana in corpore sano*».

Латинская концовка переводится на русский, как в здоровом теле здоровый дух! В свете восьмого правила это напоминание особенно уместно.

Открытое письмо Вениамина Александровича Каверина Константину Александровичу Федину я прочитал в том же 1968 году, когда оно было написано. Бывший «Серрапионов брат» извещал своего собрата по Серрапиону, что знать его больше не хочет. Мотивы понятны: некогда талантливый Федин не просто растерял свой художественный талант, но взамен обрёл новый – сервильный – талант угадывать с первого взгляда, с первой минуты, что от тебя требуется хозяевам и немедленно бросаться исполнять требуемое.

Речь шла о публикации повести Солженицына «Раковый корпус», которую уже обсудило и приняло решение печатать разрешённое властями собрание московских писателей. От Главного Писателя СССР – Председателя правления Союза писателей Федина ждали поддержки этого решения. Но горько ошиблись в своих ожиданиях. Хотя, на мой и тогдашний взгляд, фединское поведение было абсолютно предсказуемо. Возможно, конечно, что он добился бы разрешения печатать Солженицына, которого основательно пощипала бы цензура. Но, скорее всего, он понимал, что ничего от него не зависит. Что пойдёшь он на поводу у писателей, и волшебные его номенклатурные привилегии исчезнут. А ими дорожили и не пробрасывались.

Мне рассказывал один мой бывший коллега, известный критик, которого поддерживал и которому одно время помогал Феликс Кузнецов, как очутились они с жёнами в Ленинграде. Коллегу поселили в обычном гостиничном номере, а Феликсу союз писателей оплачивал «люкс». Кузнецов с женой принимали приехавшую с ними семейную пару у себя в номере весьма радушно, возили на персональной машине, которую закрепили за первым секретарём.

рём московского отделения союза писателей, депутатом Верховного Совета РСФСР Феликсом Феодосиевичем Кузнецовым, едва он ступил на ленинградскую землю.

– Хочешь так жить? – благодушно спрашивал моего бывшего коллегу Феликс. – Для начала вступи в партию. А там положишься на меня.

Коллега, который умел держать нос по ветру не хуже Феликса, коллега, который сумел даже расположить к себе самого Георгия Мокеевича Маркова, первого секретаря всего писательского союза, и получать от Маркова заграничные командировки, – этот мой коллега вступить в партию решительно отказывался: не мог простить большевикам репрессированных родителей и своё нищее детдомовское детство. И обдумывал, как бы ему обойти этот этап. Потому что жить, как Феликс, очень хотел. Ведь первому секретарю московского отделения привилегии установили на уровне республиканского министра.

Ну, а председатель правления Союза писателей СССР входил в номенклатуру политбюро ЦК партии. Он на номенклатурной шкале был приравнен к союзному министру. Федина сделали депутатом Верховного Совета СССР, академиком большой академии, практически взяли на полное государственное содержание, исполняли почти все его желания. За что? За то, чтобы он поддержал решение печатать повесть Солженицына?

Конечно, Серапионов брат не ответил на письмо собрата. Да он и собратом его не ощущал. Когда это было – Серапионовы братья? Давно больём заросло!

Но именно в пору «Серапионов» Федин, умерший 15 июля 1977 года (родился 24 февраля 1892-го), не считался, а был писателем. Повесть «Анна Тимофеевна» (1923), романы «Города и годы» (1924), «Братья» (1928), рассказы тех лет обнаруживают то, что и должно обнаружить – ни на кого не похожий собственный стиль, в котором сказ сочетается с декадентской расхристанностью. Умел Федин с самого начала повествования заинтриговать читателя и держать его в напряжении до конца. Тонкий психолог, он создавал живых героев.

Этому своему умению он изменил уже в романе «Похищение Европы», который писался в 1935—1936 годах не «Серапионом», а членом правления Союза писателей СССР. В роман врывается политика; два его героя олицетворяют два мира. Обречённая на гибель Европа дана глазами большевика Рогова, крепнущая Советская Россия, привносящая новое в мир страна Советов – глазами капиталиста, лесного короля Ван-Россума. Нетрудно догадаться, кому в этом столкновении отдаст победу автор. В 1940 году в романе «Санаторий Арктур», перепевающим «Волшебную гору» Томаса Манна, победа здорового СССР над гнилым Западом подтверждена и утверждена окончательно.

Ну, а что до его трилогии: «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947—1948) и «Костёр» (начат в 1961-м), то она зафиксировала падение. За два первых романа Федин удостоен сталинской премии 1 степени, что означало: они понравились Сталину. Новые главы «Костра» появлялись в «Новом мире», кажется, только для того, чтобы свидетельствовать: писателя Федина больше нет!

Недавно в «Дружбе народов» я прочитал воспоминания о Федине бывшего работника его аппарата Юрия Оклянского. Оклянский представляет Федина едва ли не скрытым оппозиционером, нажимает на то, что Константин Александрович помог некоторым литераторам, на то, что в учениках Федина был Юрий Трифонов.

Но помогали литераторам, порой отверженным, и другие писательские функционеры, которые не были тупо свирепы, как, допустим, Анатолий Софронов или Пётр Проскурин. А Трифонов был благодарен Федину, который его отличал в своём семинаре в Литинституте, но на сталинскую премию, как пишет Оклянский, трифоновских «Студентов» не выдвигал. Выдвинула его редакция журнала «Новый мир» Твардовского. «Студенты» были дипломной работой Трифонова. Он защитил диплом под руководством своего руководителя Федина, к которому и в дальнейшем относился хорошо. Но Федину и в голову не пришло выдвинуть

повесть своего дипломника на сталинскую премию. Говорю не в осуждение, а в опровержение мнимой заслуги.

16 июля

Оказывается, семейство Аникстов вернулось из эмиграции в Россию в 1917 году так же, как и Ленин с Крупской, – в специальном вагоне и с разрешения германского правительства, которое не без основания рассчитывало, что большевистский лозунг «превратим мировую войну в гражданскую» послужит разложению русской армии.

Абрам Моисеевич Аникст к 1917-му стал большевиком. Но поначалу им не был. Вступал в революционное движение как анархист. Это ему, занимавшему в стране Советов крупные государственные посты, будет зачтено. 2 ноября 1937 года его арестуют, а 19 марта 1938-го расстреляют.

Его жена Ольга Григорьевна Аникст с 1915 года по рекомендации Ленина и Крупской работала в Швейцарии секретарём Общества помощи ссыльным и политкаторжанам. После эмиграции руководила организацией профессиональных заведений, перестройкой школьной системы, подготовкой рабочих на производстве. Была редактором журнала «Жизнь рабочей школы», организовывала съезды по образованию рабочих подростков и по рабочему образованию. Была в 1930-м командирована в Германию и после возвращения создала и возглавила в качестве его первого ректора Московский институт новых (иностранных) языков (нынешний Московский государственный лингвистический университет). Работала начальником Управления учебных заведений в Наркомате местной промышленности РСФСР.

И, разумеется, была арестована. Сразу же после расстрела мужа. Как член семьи изменника родины. Провела восемь лет в мордовских лагерях и ещё десять в ссылке в Свердловской области.

Оставила воспоминания, где рассказала об истории семьи Аникстов и где очень тепло вспоминала о своих встречах с Лениным и с Крупской.

В этой семье и родился в Цюрихе 16 июля 1910 года Александр Абрамович Аникст.

«Он очень увлекался игрой в марки и знал всех депутатов английского парламента, – вспоминает его мать. – Хватал наши газеты, читал все речи их. Играя в марки, он устраивал войну между королями Англии и др. Дедушка его называл „Чичерин“ и настаивал, чтобы он пошёл на Международный факультет. Однако когда Саша окончил 10 классов, мы попытались определить его в 1-ый МГУ. Но оказалось, что по математике он не сдал даже на „хорошо“, несмотря на то, что дома имел репетитора. Не любил математики, и всё. Впоследствии он поступил в институт имени Либкнехта на литературное отделение. Затем, после какой-то реорганизации института, он был переведён во 2-ой МГУ на педагогический факультет, который и окончил».

В 1938 году он защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Мильтона. С началом войны вступил в московское ополчение. Четыре года был на фронте. После возвращения преподавал историю английской и американской литературы, занимался исследовательской, авторской, составительской и комментаторской работой. Защитил докторскую диссертацию по творчеству Шекспира в 1963 году.

Стал крупнейшим специалистом по шекспироведению, по которому опубликовал больше ста работ. Среди них не только великолепно написанная книга о великом писателе и драматурге, изданная в серии «Жизнь замечательных людей» (1964), но и такие, представляющие огромную научную ценность, как «Театр эпохи Шекспира» (1965), «Первые издания Шекспира» (1974), «Шекспир. Ремесло драматурга» (1974), «Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий» (1986). Не говорю уже о многих предисловиях к отдельным публика-

циям драм Шекспира, о статьях в научных изданиях, во многом по-новому осветивших ту или иную проблему шекспироведения.

Впрочем, вклад Аникста в науку о литературе ещё обширней. Он писал книги о Бернарде Шоу (1956) и Даниеле Дефо (1957), о «Фаусте» Гёте (1979 и 1983), о творческом пути Гёте (1986). Наконец, следует отметить его книги о теории драмы: «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» (1967), «Теория драмы в России. От Пушкина до Чехова (1972), «Теория драмы на Западе в первой половине XIX века» (1980) и во второй его половине (1988).

Он был почётным доктором Бирмингемского университета. Был председателем Шекспировской комиссии Академии наук. А по воспоминаниям близко знавших его людей, был прекрасным общительным человеком. Студенты его обожали. Профессора тоже. Столетию его памяти были посвящены сборники «Шекспировские чтения 2006» и «Шекспировские чтения 2008—2010». В одном из них опубликовано завещание Аникста «Остающимся в живых», которое даёт объёмное представление об этом незаурядном человеке, умершем 24 декабря 1988 года.

Женя Богат, Юра Тимофеев – люди, крепко дружившие между собой и по-своему невероятно интересные в отделе так называемого коммунистического воспитания «Литературной газеты», с которыми я познакомился в 1967 году, когда пришел в неё работать. Работала в отделе ещё и приветливая Таня Снегирёва, но она быстро сгорела – рано умерла.

А своего заведующего – Валентину Филипповну Елисееву отдел не любил. Она, как и сама говорила об этом на летучках, подходила к печатающимся материалам с партийных позиций. Когда я пришёл в газету, её пыл поубавился, поутих. Но старые работники вспоминали её пламенным обличителем.

Юра был общим любимцем. С ним сразу переходили на «ты», выпивали большой компанией, в которую он любил собирать сотрудников и вести к себе домой. Был он добр и беспечен. Занимал прежде должность главного редактора детского издательства, но в номенклатуре не удержался: он для неё не был создан.

А Женя был церемонен. Амикошонства не любил. Выпивать тоже. Сближался с людьми труднее. Но если сближался, то дружил с тобой прочно. Недаром, когда он умирал, и больница попросила добровольцев в редакции сдать для него кровь, вызвались очень многие.

Евгений Михайлович Богат родился 16 июля 1923 года. Работал до «Литературки» в разных газетах. В московском областном «Ленинском знамени» его заметил главный редактор «Вечерней Москвы» Виталий Александрович Сырокомский. «Вечёрка», «Ленинское знамя», «Московская правда» и «Московский комсомолец» находились в одном здании, принадлежавшем горкому и обкому партии и комсомола. Сырокомский читал статьи Богата и они ему нравились. Он мне рассказывал потом, что подумывал переманить Женю в свою газету. Но не успел: его самого переманил Чаковский к себе первым замом. Чаковский задумал реформу «Литературной газеты» и позвал Сырокомского её осуществлять, предоставив ему полномочия набирать тех, кто ему нужен, и избавляться от тех, кто ему не нужен. Так и оказался Женя в «Литературной газете».

Он очень ценил это своё рабочее место. Говорил мне, что долго не мог поверить тому, что Сырокомский окажется в состоянии пробить такие материалы, о которых нельзя было и подумать в «Ленинском знамени». *«Я убивал в себе внутреннего цензора, – говорил Женя. – И такое убийство давалось нелегко: привычка – вторая натура!»*

Тем не менее её, эту злополучную привычку, он преодолел. Привык к другому – к полному самораскрытию собственной личности в своих статьях, что обеспечило ему успех у благодарных читателей, а нашей газете добавило подписчиков.

Он и был из тех публицистов, которых называли «золотыми перьями» редакции: Толя Рубинов, Аркадий Ваксберг, Алик Борин, Ольга Чайковская, Паша Волин, Саша Левиков, позже – два Юры – Щекочихин и Рост.

Женя выделялся и на их фоне: его очерки были философичны и, посвящённые конкретному событию, оказывались как бы вне конкретного времени. Потому что писал Богат о человеческой душе, открывал в ней огромные моральные возможности для реализации, предупреждал о её хрупкости и призывал к сбережению её в чистоте, не пятная. Нет, он не был религиозен. Но статьи его были проповедническими, обращёнными к внимающей автору пастве. Такая стилевая манера отличала ещё одного нашего автора – Симона Соловейчика. Но Сима в редакции не работал. К тому же цензору с Симой было намного легче, чем с Женей. Соловейчик писал о школе, освещать которую можно было только в рамках установленных цензурой правил. Помню, как придирался цензор к Симе и как обдумывали в отделе пути, какие помогли бы обойти цензурные преграды. Не думаю, что статьи Богата нравились цензору. Но насчёт души цензура чётких установок не имела, а что до запретных философов, чей список был у цензора, то Женя их и не цитировал. Мог отослать читателя к Монтеню или Руссо, цитировал русских и зарубежных классиков литературы – что было в этом запретного?

Забавно, что обоих – Соловейчика и Богата – в редакции звали «гривастыми». Не из-за стилового сходства, разумеется, а потому что у обоих причёски были на самом деле похожи на львиную гриву, у обоих длинные волосы как бы развевались при походке.

Женя умер относительно рано – 7 мая 1985 года, не достигнув 62 лет. Он оставил после себя внушительное количество книг, которые в своё время были не менее популярны, чем его статьи в «Литературной газете». К примеру, «Ахилл и черепаха» или «Урок». Будут ли читать их в будущем? Судить не нам. История знает немало примеров возвращения забытых было книг в литературу. Иногда они возвращаются спустя весьма продолжительное время.

С поэтом Андреем Дементьевым у меня отношения складывались странно. В одной из своих статей я критиковал его стихи, напечатанные, наверное, в «Юности». Точно не помню, но кажется, что там. Потому что заведующий отделом поэзии этого журнала поэт Натан Злотников, встретив меня, заголосил: *«Геночка, ты обидел очень хорошего человека. Это добрейший мальчик. Его ценит Борис Николаевич»*. Борис Николаевич – главный редактор «Юности» Полевой. Что речь шла о стихах именно Дементьева, я очень хорошо помню.

Донесли мне, что якобы он в Калинин (Твери), где жил тогда, сказал кому-то: *«Красухин просто искал, по кому ударить. И здесь я попался ему под руку. Он выполнял редакционное задание»*. Если он это сказал, то критики моей не опроверг. Просто представил её вынужденной, какой она, конечно, не была.

А потом Дементьев переехал в Москву, стал в «Юности» заместителем Полевого, и я перестал там печататься даже с маленькими рецензиями. Не предлагал, потому что был уверен: не опубликуют. Но вот Дементьев после смерти Полевого назначается главным редактором «Юности». И через какое-то время подходит ко мне в «Литературной газете». *«Почему, – спрашивает, – вы у нас не печтаетесь?» «Да никто не зовёт»*, – отвечаю. *«Я зову, – твёрдо говорит Дементьев. И улыбается мне: – Буду рад видеть вас на наших страницах»*.

Вот здесь я и вспомнил Злотникова. Его отзыв: *«Добрейший мальчик»*.

Что ж. На дворе стоял 1984 год. Моему другу Булату Окуджаве в мае исполнялось 60 лет. Я предложил статью о нём главному редактору «Юности».

– *Очень хорошо!* – сказал он. – *Пишите, поставим в пятый номер. Поздравим Булата.*

Я прочитал гранки статьи, идущей в майском номере. Однако, как сказали мне в секретариате через несколько дней, из майского номера Дементьев её вынул.

Он позвонил мне домой, извинился, сказал, что статья ему нравится и что она пойдёт в седьмом, то есть июльском номере. «От вас и от меня такая перестановка не зависит», – сказал он.

И в седьмом номере «Юности» статья, которая очень понравилась жене Булата, Оле, действительно вышла.

Вот так ответил мне поэт на критику его стихов. Не припомню больше подобного случая.

К тому я это рассказываю, чтобы подтвердить: Андрей Дмитриевич Дементьев, родившийся 16 июля 1928 года, человек незлобный и порядочный.

Как я отношусь к его стихам? Да, пожалуй, что мнения о них я не переменял. Другое дело, что он поэт-песенник. А к текстам для музыки нелепо предъявлять такие же требования как к стихам.

Володю Британишского я помню по литературному объединению «Магистраль», куда они ходили с женой Володи Наташей Астафьевой, тоже поэтессой.

Он в её честь назвал одну из первых своих книг «Наташа», которую мы обсуждали в «Магистрали».

Родился Владимир Львович Британишский 16 июля 1933 года. Вообще-то набирался соков он в Питере. Там жил и посещал знаменитое литобъединение ленинградского Горного института, которое вёл Глеб Семёнов. Оттуда вышли А. Битов, Г. Горбовский, А. Городницкий. Британишский знал Кушнера, Соснору, Рейна. Упомянул о его стихах Бродский в одном из своих интервью. Володя печатался в «Звезде» с 1955 года. А уже в 1961-м его приняли в Союз писателей.

Членство в Союзе не мешало ему приходиться в «Магистраль», которую посещали Булат Окуджава и Володя Войнович, Эля Котляр и Нина Бялосинская, тоже ставшие членами писательского Союза.

Наверное, ему было интересны наши выступления. Могу сказать, что его стихи были интересны нам, «магистральцам». Мне, например, понравилось его стихотворение «Читая Ремарка»

*Человек пришёл с большой войны.
Цело, невредимо было тело.
Но война из-за его спины
Глядела,
За плечами у него сидела
Крепче ведьмы, цепче сатаны.
Человек пришёл с большой войны
В дом, в четыре собственных стены.
Но война его не отпустила,
Тягостная, у него гостила,
Комната едва её вместила,
Были стены для неё тесны.
Человек пришёл с большой войны.
Вот он лёг, заснул и видит сны,
Окружённый, как тогда, в Арденнах,
Ужасами яростной войны...
Человек нашёл себе жену,
Он рождения увидел чудо.*

*Но остался у войны в плену,
Без надежды вырваться оттуда.
Он мальчишкам роздал ордена,
Штатское купил себе с полочки.
Но сидела за столом война
И кусок брала себе получше.
Умер он через пятнадцать лет.
Врач пришёл пролить научный свет.
Бездыханное молчало тело.
Было всё: латынь, ученый вид...
А война
По-прежнему глядела
Из больших, ввалившихся орбит.
Человек был на войне убит.*

Была в его стихах, какая-то крепкая основательность, которая, как я потом уже понял, вообще отличала птенцов гнезда Глеба Семёнова. Семёнов выпустил настоящих профессионалов. Не случайно, что В. Британишский публиковал в «Вопросах литературы» статьи о польском барокко. Семёнов научил студийцев понимать, что содержание и есть форма стиха. Они и выбирали форму по своему содержанию.

Я встречал потом много публикаций Британишского. Поражался его работоспособности. Он ведь ещё и переводил. И печатал свои переводы с польского, с английского, с чешского, словацкого. Переводил У. Уитмена, Я. Ивашкевича, Ч. Милоша, У. К. Уильямса. Начиная печататься с переводов негритянского поэта Л. Хьюза. Особенно много перевёл польских поэтов.

А кроме того, Британишский писал прозу. Выпустил книгу ещё в 1969 году. В 2008—м в издательстве «Аграф» вышла книга его прозы «Выход в пространство».

В заключение снова хочется процитировать Британишского. На этот раз стихотворение, которое написано намного позже того, которое я процитировал раньше:

Марине

*Дочь у меня – психолог, работает в диспансере.
Она отделять обязана нормальных от ненормальных.
Она мучительно ищет некий надёжный критерий,
чтоб точно чертить границу безумья их и ума их.
Но нет такого критерия. Похоже, что все – больные,
не то, чтобы инвалиды, но очень уж неполноценны,
а что особенно часто её повергает в унынье:
не столько они шизофреники, сколько олигофрены.
Да, да, дураки, недоумки. Как быть с ними? Что возьмёшь с них?
С дебилов и с идиотов, с бессмысленных имбецилов?
Что делать с малыми сими? Беспомощность и невозможность.
И Бог, обидевший всех их, всем им помочь не в силах.
А ей что? Не брать же их на руки – утешить их и утишить!
Она их классифицирует, она сортирует, бракует...
Потом домой возвращается – кричит на своих мальчишек,
на мать, на мужа... И курит, и курит, и курит...*

О Николае Николаевиче Асееве (10 июля 1889 – 16 июля 1963) мне рассказывал Станислав Рассадин. Асеев опекал молодых поэтов. Хвалил Соснору, Ахмадулину, Вознесенского. Особенно покровительствовал Юрию Панкратову и Ивану Харабарову.

Два этих последних учились в Литинституте, увлекались поэзией Серебряного века и выступили в печати со статьёй против традиционной поэзии. Они противопоставили ей оперённое «новой» рифмой четверостишие одного из них – Панкратова:

Зима была такой молоденькой,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.